

ЮРИЙ АРБАТ

СВЕТЛЫЙ СЕВЕР

**Рассказы и очерки о русском Севере,
его людях и его народном искусстве**

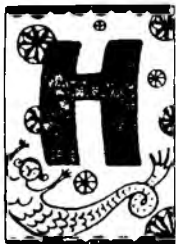
678927

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



Юрий Андреевич Арбат.
Рисунок народного художника СССР Н. Н. Жукова.

КРАСИВОЕ ДЕЛО



АРОДНОЕ искусство родилось в быту, будь то в Индии, Мексике, Венгрии, на Украине или в России. Подчас в одной северной избе можно встретить целый комплекс народного художественного творчества.

На коньке крыши — крутогрудый, из дерева вытесанный конь, или, скажем, символ коня, потому что это искусство всегда стремилось к обобщению, избегая назойливых подробностей, излишних деталей. Символы цветов, птиц, колосьев, тех же коней щедро рассыпаны по наличникам. Петушок над крыльцом, солнце над воротами. Это снаружи.

Внутри избы на каждом шагу то же самое стремление к красоте в вещах, имеющих самое утилитарное назначение. Пчелки, петушки и солнышки на полотен-

цах, уточки на столе в виде солонок или ковшей, на прялке — и райские птицы, и чаепитие, и масленичное катание. Орнаментом оживлен пенал школьника. Женский праздничный костюм — целое произведение искусства.

Из избы, из рук мастера изделия переходили на шумные ярмарки. Появлялись художественные промыслы: богородская деревянная игрушка, вятская «дымка», хохломская утварь, великоустюжская чернь, вологодские кружева...

В результате длительного процесса, иногда искусственно убыстряемого, народно-художественное искусство ушло из быта, из повседневности. Непосредственно в избе, как правило, не режут по дереву, не вышивают, не расписывают. Но художественные промыслы не умерли. Красота из них расходится по всей земле.

Не все понимают, что элементы народного творчества поистине украшают быт. В этом смысле популяризация народного творчества — большое благородное дело. К сожалению, мало найдешь писателей (а не искусствоведов-профессионалов), которые последовательно занимались бы этим, уделяли бы этому хоть какую-то часть своего времени и энергии.

Еще недавно я мог бы написать: «Но зато есть писатель, который народное искусство и его популяризацию сделал главным делом своей жизни». Однако сегодня с горечью в душе приходится писать, что такой писатель был.

Жизнь, которая действительно целиком была посвящена народному искусству, народному творчеству, окончилась. Я имею в виду умершего несколько месяцев назад писателя Юрия Андреевича Арбата. Да, он этим жил, вне этого его просто невозможно было представить.

Сам немного художник, Юрий Андреевич обладал тонким вкусом на народную истинную красоту. Он ездил в экспедиции в северные области, его квартира была похожа на музей, то есть он жил буквально среди того, о чем писал. В карманах у него всегда находились какие-то мелкие изящные безделушки, которые он щедро раздаривал людям — тоже вид пропаганды и популяризации. Но главное, конечно, книги. Достаточно перечислить названия книг Юрия Арбата, вышедших за последние годы, чтобы понять, чем жил этот писатель.

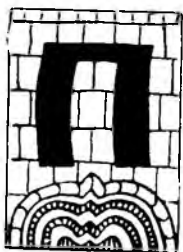
«Народное декоративное искусство» («Советский художник», 1963), «Шесть золотых гнезд» («Московский рабочий», 1961), «Красота вокруг нас» (Государственное издательство местной промышленности и художественных промыслов, 1962), «Фарфоровых дел мастера» (Профиздат, 1955), «Конаковские умельцы» (г. Калинин, книжное издательство, 1957), «Северный корень» (издательство «Правда», 1962), «Добрый людям на загляденье» («Детская литература», 1964), «Звонкое чудо» («Советская Россия», 1968), «Сорок памятных зарубок», («Советская Россия», 1970).

Очевидно, что сферу народного искусства, сферу красоты писатель сделал сферой своего существования. Юрия Андреевича Арбата нельзя представить вне всех этих его матрешек, прялок, «дымок», солонок, туесков, деревянных, гончарных, берестяных, фарфоровых изделий...

Нужно помянуть человека добрым словом за то, что он последовательно, день за днем, год за годом делал нужное, большое и (тут особенно уместно употребить это слово) красивое дело.

Владимир Солоухин.

МЕСТО КРАСНО



ОМНЮ озеро — огромное и белое, будто седое. Помню прямой, прочерченный по линейке канал, отделенный от озера каменной грядой дамбы, а на ней тополя и обелиск в честь сооружения канала с цифрой «1846». Помню узенькие, в три-четыре доски деревян-

ные мосточки — «лаву» для перехода через канал, которую «разводили», подтягивая к городскому берегу, если по каналу проплывали пароходы. Помню пароход «Марусеньку», такой маленький, что когда местная дородная купчиха Кузнецова вступала на один борт, по другому матрос катил тяжелую бочку, — иначе утлое суденышко могло перевернуться. Помню могучий крепостной вал и веселую лужайку на пригорке возле бе-

лой церкви с массивными куполами. Случайно сохранились в памяти две-три фамилии. Все это помню отлично. И больше ничего. Семилетним увезла меня мать из Белозерска.

И вот через пятьдесят лет я опять в родном городе.

Первое впечатление почти мистическое: как будто и не минуло полустолетия. Все то же, что в воспоминаниях: озеро, канал, лавы, вал, церковь, оказавшаяся местным Успенским собором, та же лужайка.

Но не только у озера, а и у меня седина. И, может быть, потому, что я, дожив до седины, ничего, кроме нескольких подробностей, не помнил, я открывал Белозерск, как город новый, богатый историческими событиями и интересной современностью.

* * *

Белозерск много старше Москвы и других русских городов, даже тех, кои считаются очень древними. Невозможно точно сказать, когда люди начали строить здесь первые жилища. Археологи утверждают, что неподалеку найдены остатки поселений начала II тысячелетия до нашей эры, а на северном побережье Белого озера обнаружены при раскопках древние стоянки конца IV тысячелетия до нашей эры. Летописцы впервые упоминают Белозерск, или, как его называли в старину, Белоозеро, в 862 году.

Возле села Каргулино на берегу Шексны недавно отрыты срубы, настилы, части плуга, тигли, берестяные кузова с узорами, деревянные мутовки, черепки глиняной посуды, изделия из кости. Датируется это тоже девятым веком. Значит, жили здесь в ту далекую пору не только селяне-пахари, рыбаки и охотники, но и горожане-кузнецы, гончары и плотники.

Много интересных сведений собрали о Белоозере историки. О том, что по заслугам слыл этот город передовым постом Ростовско-Суздальской земли на севере, и о том, как белозерцы участвовали в походах на Каму, как полтораста лет существовало Белозерское княжество, как помогали белозерцы родной земле освобождаться от ненавистного ига батыевских полчищ (Белозерские полки сыграли немалую роль в Куликовской битве). Бывало, что в междоусобных схватках Москвы и Новгорода несладко приходилось Белозерску, но город вставал из руин и пепла, рос и принимал новых «утеклецов» с юга. В конце XV века Иван III обнес город валом пятнадцати сажений в высоту, поставил на нем «рубленую сыпь». Время уничтожило деревянные укрепления, но вал остался до наших дней, и с него можно любоваться старинным городом.

В истории русской культуры славится Белозерск двумя чудом сохранившимися уникальными документами — Уставной грамотой 1488 года (которая потом легла в основу судебника Ивана III) и таможенной грамотой 1497 года, донесшей до нас ценнейшие сведения об экономической жизни русских людей далекого прошлого. С именем Белозерска связывают многие другие события: и то, что именно здесь обнародовали грамоту о «Юрьеве дне», закабалявшем крестьян, и то, что город стал местом ссылки, где томились опальные бояре и плененные казанские ханы и куда сослали вечевого колокол, звавший народ на совет.

В Белозерск, подальше от врагов, в смутное и тревожное время отправляли государеву казну, а царица Софья Палеолог по воле мужа, Ивана III, здесь пережидала военную грозу — безопаснее места в ту пору на Руси не сыскали.

Стоял Белозерск на важном пути к Белому морю,

торговал солью и многими другими товарами. Славилась по Руси белозерские плотники и кораблестроители, ладившие легкие суда — «белозерки», славилась каменщики, поставившие величественные красивые здания Кирилло-Белозерского монастыря. Славилась белозерские кузнецы и меднолитейщики, и недаром местное железо еще в стародавние времена шло на плуги, когда почти повсюду пахали сохой. Рыба, выловленная белозерскими рыбаками, икра и вязига отсылались в Москву ко княжескому столу.

Вот сколько своеобразного в истории древнего Белозерска! Но этот городок, являющийся районным центром Вологодской области, с достоинством участвует в жизни страны и в наши дни.

Я ждал встречи с земляками.

* * *

На старинном гербе Белозерска — две стерляди.

Рыбный промысел и сейчас дело для белозерцев хорошо знакомое и любимое. Прибрежные колхозы выезжают на озеро обычно после обеда и ставят переметы. А здешние переметы — это чудо: каждый уложен в ящик и, когда опустишь в воду, вытянется на 1300 метров. Бригада выезжает с двумя-тремя десятками ящиков, так что начнут ставить в Маексе, а кончают в двадцати километрах, у Ковжи.

Поближе к рассвету, когда на востоке уже светлеет северное небо, рыбаки едут за добычей. Они знают, что на сотни крючков попали пудовые щуки, увесистые судаки, широкие, как тарелки, лещи. Особенно радует белозерских рыбаков, что то и дело попадаются превосходные, килограмма по три, по четыре, стерляди, как бы напоминая о древнем гербе.

В озерах — а ведь здесь не только Белое озеро, но и Андозеро, Новоозеро и другие — ловят окуня, ерша и, конечно же, знаменитый снеток — рыбку величиной с мизинец.

Никанор Васильевич Микшин, председатель колхоза «Устье» — крепко сбитый коренастый дядя — рассказал о ловле снетка на Андозере. А в Маексе встретился с рыбаками из белозерского колхоза «Советский рыбак» — председателем (фамилии не назову — потом поймете почему) и рыбаком Алексеем Михайловичем Поляковым, помянул о словах устьинского колхозного вожака и — боже ты мой! — какую отповедь услышал:

— Так разве на Андозере снеток, как у нас?.. — кипел Поляков. — Тамошний снеток с чернотой да и пожестче. Настоящий снеток — наш, белозерский, он и белей, и будто светится, и на вкус не в пример слаще. Это же весь мир знает!

Про пудовых щук белозерские рыбаки поминают тоже не для красного словца, не по рыбацкой привычке говорить: «во-о-о-от какая рыбина» и растопыривать руки елико возможно. В рыбцехе Череповецкого комбината (как теперь именуется Белозерский консервный завод) подивился я матерым щучищам. Работница Нина Кабанова лихо подхватывала щук и как поленья кидала в машину. А техника делала свое дело: цепляла рыбу за хвост, чистила, передавала машине-соседке, та диском отсекала голову и хвост и резала на равные куски по высоте консервной банки. В машинных ваннах, наполненных кипящим маслом, эти куски быстро обжаривались, потом их запрытывали в банки, заливали соусом, стерилизовали в автоклавах, и милые девушки-белозерки наклеивали красивые этикетки с портретом щуки: консервы готовы.

Суп из сметков, может быть, рассчитан на любителя. Я же считаю его пищей богов. Да и другим белозерцам он дороже любого деликатеса. Но вот недавно побывал я на Цейлоне и убедился, что любому кушанью цейлонцы предпочитают «керри» — рис с десятком острейших приправ и морскую рыбу с томатом и перцем. Один раз я попробовал, обжег рот, вспомнил о нежнейших сметках и решил, что, пожалуй, каждому свое.

Белозерский рыбцех дает в год 750 тысяч банок консервов, рыбаки поставляют любителям отварного и жареного судака, «тельного» и другие блюда, сотни тонн разной вкусной рыбы. Нет, не зря стерляди изображены на белозерском гербе.

* * *

Впрочем, по справедливости полагалось бы на этот герб поместить и дерево — сосну или ель, потому что лесной промысел здесь тоже и старинный и любимый. Раньше бревна в обхват толщиной шли на крепостные стены, на рубленые избы, на утварь. Теперь ежегодно полмиллиона кубометров белозерского леса идет главным образом в Москву на строительство. В чащобах возле озера машины завладели производством, да так прочно, что Белозерск и в этом отношении прославился, хотя помогают этой славе машиностроительные заводы многих наших городов. Не дедовская ручная пила-лучковка хозяйничает ныне в лесу, — выходят на делянки вальщики, вооруженные пермскими бензопилами «Дружба» с гидроклиньями. Теперь на валку дерева уходит всего несколько секунд. Гудят в борах алтайские дизельные трелевочные тракторы: они забирают пачку поваленных «хлыстов» немалым весом в 25 тонн, волокут ее, а лебедки грузят на кременчугские

лесовозные машины. Мчится заготовленный лес со скоростью 45—60 километров по новым дорогам из железобетонных плит. Две таких дороги обеспечивают выполнение всего леспромхозовского плана. «Нижний склад» — это завод в лесу, полуавтоматическая линия, где идет разделка древесины. Пока возят лес с уже обрубленными сучьями. Но такой способ заготовителям не по душе: ведь для обрубки веток в лесу надо держать людей. А задача заключается в том, чтобы людей из леса вывезти. На одной из дорог — Георгиевской — установили сучкорезную машину и теперь будут доставлять из леса деревья только что поваленные, а очистят их на нижнем складе. Тогда все рабочие соберутся вместе, неподалеку от своего поселка, своих домов, своего клуба и кино. А в лес на работу — на валку — их доставят автобусом. С теми же удобствами после работы привезут домой.

Убежденно и деловито рассказывает директор Белозерского леспромхоза Алексей Иванович Погодин:

— Для тех, кто когда-нибудь видел старую рубку леса, ясно, какая революция произошла в лесу. Нередко думают: темный лес, ничего-то там знать не надо, пришел рабочий, дай ему топор и пилу, он и станет трудиться. Пожалуй, из-за такого наивного подхода и возникла у нас нерешенная пока проблема технических кадров. В лесотехнические вузы часто идут учиться не те, кто знает и любит лес.

В современном лесу — могучая техника. Это главное. Это — типичное. Инженеры нам нужны позарез. А мы за три последние года не получили ни одного инженера. Другой теперь лес, другая техника, нужно и новое отношение ко всей проблеме.

С законной гордостью Погодин говорил:

— Белозерск выбрали местом для всесоюзного со-

вещания по строительству лесовозных дорог с железобетонным покрытием. Наши дороги взяты в образец: они и длиннее других, и качество строительства хорошее. 150 делегатов — 150 мнений; это экзамен: делать ли такие дороги и в дальнейшем.

Я был в Белозерске, когда еще только готовились к этому общесоюзному разговору. Город жил, если можно так выразиться, в ощущении гостеприимства. Для приезжих пристраивали новое крыло в гостиничном здании, асфальтировали тротуары — в общем занимались коммунальной косметикой. Статистики на всякий случай подбирали сведения о культуре древнего города: и городское, и областное начальство, и гости могут поинтересоваться, а что за город Белозерск сейчас, в наши дни? Раньше, в княжеские времена, про него можно было сказать: культурный центр. А нынче как?

Ну что ж, сведения готовы. В Белозерске на десять тысяч жителей есть и начальная школа, и две восьмилетки, и одна одиннадцатиклассная, и большая школа-интернат, а также педагогическое училище, школа механизации сельского хозяйства и лесотехническая школа. А было? Приходская школа и две гимназии — мужская и женская. В 1901 году на единственную больницу уездному земству выдавалось пособие... 100 рублей. А сейчас на 4 городские больницы и 8 районных, на амбулатории, родильные дома, консультации, дома ребенка, молочные кухни и прочее тратится почти четверть миллиона рублей. Это новая, принципиально новая — не княжеская, не царская, не купеческая, а народная культура.

К чертам новой культуры можно отнести и то, что город приобретает разносторонний характер: и как центр сельского хозяйства, и как промышленный центр — в районе животноводческие колхозы, а в городе судоремонтные мастерские, деревообрабатывающий завод, маслозавод, рыбоцех, хлебозавод и так далее.

Но если говорить об экономике, то с особенным удовольствием мои земляки-белозерцы напоминают о том, что Белозерск стал портом пяти морей: водой можно добраться отсюда и в Белое море, и в Черное, и в Каспийское, и в Азовское, и в Балтийское. И все это сделала только недавно завершенная стройка — Волго-Балт.

Ах «Марусёнка», «Марусёнка» со старого, тесного Белозерского канала, входившего в Мариинскую систему! Как забавно даже воспоминание о ней. Плынут по Белому озеру громады — самсходные баржи и гиганты пассажирские теплоходы. На пополневшей и залившей окрестные низины Шексне, когда-то узенькой, где «Марусёнка» казалась чудом техники, я увидел, как в лиловых летних сумерках промчалась «Ракета» на подводных крыльях — будто ожившая иллюстрация из научно-фантастического романа.

Археологи проводили раскопки возле деревни Крохино, в 18 километрах от Белозерска, там, где когда-то стояло древнее Белоозеро. Теперь, рядом с завершёнными раскопками, откуда в музей отправлено столько ценнейших экспонатов, обосновалась баржа — временная пристань. Временная потому, что уже роют землю бульдозеры в городе Белозерске возле лесного склада и строятся речной вокзал, причальная линия, грузовой участок, разные здания, — все что полагается настоящему озерно-речному порту,

Леонид Иванович Поздынин, мастер капитального ремонта белозерской гидрогруппы Волго-Балта, рассказывает:

— У нас и расписание новое, и пароходы новые. Уже лет десять как начали мы понемногу осваивать Белое озеро, стали туда выходить самоходки, танкеры, сухогрузные баржи. А раньше показывались на озере только рыбацкие суда. На запад прошел трехпалубный «Багратион». Разве здесь думали о такой махине? А новая линия Ленинград—Ярославль? А шлюзы? Загляденье! Раньше на 30 километров пути для «Марусеньки» — 26 шлюзов-карликов. Теперь шесть шлюзов-гигантов.

В рукописи XIV века, процитированной на выставке в соседнем Ферапонтовом монастыре, — где на наше счастье сохранились старинные фрески — одна из величайших достопримечательностей древнерусской культуры и одна из главных приманок для туристов, стремящихся в Белозерье, — сказано с достоинством:

«Место убо мало и кругло, но зело красно всюду яко стеною окружено водами».

Поистине так. Место красно. Можно прибавить еще: и величаво. И по нынешним событиям значительно.

* * *

Все это я записал сразу же вслед за встречей с родным городом — первой после долгой разлуки. А сейчас, через полгода, снова захотелось стать поближе к Белозерску. И так приятно оказалось отметить разные изменения, пусть, на первый взгляд, некоторые из них и не очень значительны. Но ведь радуемся же мы, когда замечаем улыбку на лице любимого человека и огорчаемся появлению новой морщинки.

Полным ходом в Белозерске строится речной порт для судов Волго-Балта, хотя пароходы, идущие из Ленинграда в Рыбинск, все еще пристают к дебаркадеру в Крохино. Прошлогоднее совещание по лесовозным дорогам осталось где-то далеко, и директор белозерского леспромхоза Алексей Иванович Погодин получил повышение, работает в Череповецком тресте. Достроенная гостиница не кажется новинкой. И к фактам культурной жизни прибавилось приятное известие, о нем сообщила мне директор районной библиотеки Нина Анатольевна Карпова: перевели библиотеку в новое хорошее помещение. И заместитель редактора районной газеты «Новый путь» Николай Гаврилович Виноградов стал редактором. Но вот колхозный председатель в Маексе проштрафился, и ему больше не доверили руководство. А кто теперь там главенствует? Да тот самый рыбак Алексей Михайлович Поляков, который с яростным восторгом доказывал мне преимущества белозерского снетка перед обитающим в Андозере.

Одним словом, происходят разные события. И большие и маленькие. На лице родного города новые улыбки, новые заботы.

Значит, город живет.

Сейчас, готовя эту главу о родном городе в книгу, которая выходит тоже в родных местах, я вижу, что жизнь опять ушла вперед и снова надо что-то уточнять и исправлять.

А может, и не надо? Может, белозерцам приятнее самим сравнивать и с довольной улыбкой говорить:

— Смотри-ка, тут пишет Юрий Арбат, что строят пристань. Давно уже построили.

Такая неточность радует.

Белозерск—Москва.

ПУТЕШЕСТВИЯ ЗА КРАСОТОЙ

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ СПУСТЯ



АРГОПОЛЬ...

Мало кому за пределами Архангельской области знаком расположенный вдали от железных дорог небольшой городок Каргополь. В экономике Севера этот город и его окрестности занимают весьма скромное место. Это — один из многих лесозаготовительных районов.

Могли бы рассказать о нем археологи, но все дела минувших дней. Впрочем, изучение местной культуры в далекую эпоху — две тысячи лет до нашей эры — дало огромный и интереснейший материал, приглядеться к которому стоит. Вокруг нынешнего Каргополя и сел Кубенино, Караваиха, Селище, Попово, Верхнее Веретье, Модлона, против Гостиного Берега и

в других местах археологи раскопали следы свыше восьмидесяти стоянок эпохи неолита. В характере найденных предметов, а судя по ним, и в экономике, быту, культуре племен обнаружено много общего. Так появился термин «каргопольская культура».

Среди лесов, сплошь покрывавших в ту пору Север России, на возвышенных местах, у рек, возле тех плесов или порогов, где особенно хорошо ловилась рыба, четыре тысячи лет назад жили наши далекие предки. Они пришли сюда с Волги, Оки и Камы, из районов южнее озера Воже. Эпоху неолита ученые определяют как время появления керамического искусства. До нас дошло большое количество стариннейшей каргопольской керамики, кусков различной глиняной посуды с так называемым ямочно-гребенчатым орнаментом. Характер орнамента своеобразен. Признанный знаток древней культуры северной России М. Фосс пишет об этом:

«Наряду с круглыми и ромбическими ямками встречаются овальные (часть с острыми концами), приближающиеся к квадратной или прямоугольной форме, а также треугольные и неправильной формы, в виде овала, как бы обрезанного с одной стороны, и др. ...Присутствие их в орнаменте придает такой своеобразный облик каргопольской керамике, что ее без труда можно узнать»¹.

«Наряду с керамикой, в орнаментах которой господствуют ямки, есть керамика с преобладанием гребенчатых орнаментов... в виде зигзага, треугольников, пересекающихся полос, образующих узор в виде сети, и т. д.»².

¹ М. К. Ф о с с. Древнейшая история Севера европейской части СССР. — «Материалы и исследования по археологии СССР», т. 29, М., Изд-во Академии наук СССР, 1952, стр. 82.

² Там же, стр. 85.

В археологических памятниках каргопольской культуры встречаются и глиняные изображения птиц, животных, человека.

Каргополь...

Много споров возникло в литературе относительно происхождения названия города. Одни говорили, что это означает «Воронье поле» — «кар», мол, крик вороны, а «поле» превратилось в «поль».

Другие, соглашаясь с общим толкованием, указывали на татарское происхождение первой части: по-тюркски ворона — «карга», значит, оттуда и «карг».

А. Котиков¹, высмеивая это объяснение, выдвигает свою догадку, еще более фантастическую. По-гречески корабль — «аргос»; если корень его «арго» произносить с придыханием, получится «карг», а греческое окончание «поль» придавалось именам городов, обладавших важной торговой пристанью (Константинополь, Адрианополь, Севастополь). Писатель Сергей Марков, автор очерка «В стране Каргун Поули»², производит название от финских корней так же, как и свердловский топонимист А. К. Матвеев³.

Одно только достоверно, что город очень древний. Как утверждают историки, Каргополь «долгое время был главным торговым городом на северной окраине Руси, снабжавшим товарами, преимущественно хлебом, не только весь бассейн р. Онеги, но и побережья Белого

¹ А. Котиков. О происхождении городов Каргополя и Лодейного Поля. Каргополь. (б. г.).

² С. Марков. В стране Каргун Поули. — «Советское краеведение», М., 1936, № 7.

³ А. Матвеев. Субстратная топонимика русского Севера. — «Вопросы языкознания», М., 1964, № 2, стр. 73.

моря». Каргопольцы посылали своих выборных в Великий Новгород на вече и участвовали в военных походах новгородских князей. Не раз враги пытались поживиться за счет каргопольцев, но в такую лесную даль и глушь могли они добираться только небольшими отрядами, и жители города давали им отпор. В «Истории города Каргополя с посадом в 1710 году», составленной «по переписной книге Переписчика и Коменданта Степана Ивановича Хвостова», указано, сколько в городе насчитывалось «дворов, дворишек, дворянок, келий, кельишек и избенок». Дворов оказалось 316, «избенки» — 32, а всего строений 659. Жителей указано около четырех тысяч, среди них особо выделено два семейства иконописцев, то есть людей с явно художественным уклоном (13 мужчин и 10 женщин).

И еще одним историческим событием отмечен Каргополь. Сюда был привезен Иван Болотников, вождь крестьянского восстания, и здесь на реке Онеге по приказу Шуйского ослеплен и утоплен в проруби.

У меня интерес к Каргопольскому району возник именно в связи с тем, что там при раскопках находили уж очень много черепков со своеобразным орнаментом.

А может быть, что-то сохранилось и до наших дней? Может быть, и сейчас процветает гончарный промысел? Если это так, то какой он?

Беру объемистую книгу «Народное декоративное искусство РСФСР», выпущенную в 1957 году к выставке прикладного искусства в Москве¹. Глава «Керамика»,

¹ «Народное декоративное искусство РСФСР», М., Всесоюзное кооперативное изд-во, 1957.

написанная научным сотрудником Института художественных промыслов О. Поповой, рассказывает о новгородских гончарах XII века, о подмосковной Гжели, о мастерах Скопина, игрушечницах Дымковской слободы. О Каргополе — ни слова.

В книге того же автора «Русская народная керамика»¹ среди иллюстраций находка — две фотографии: медведь и барыня. Подпись: «Каргопольская глиняная игрушка. Деревня Гребнево. Мастер Дружининов».

Значит, есть каргопольская керамика?

Однако тщетно ищущ я хотя бы слово о Дружининове из деревни Гребнево. Жив ли он? Работает ли? Единственный он представитель каргопольских гончаров или бок о бок с ним лепят игрушки и другие? Сохранилась ли традиция до наших дней? Ну хоть бы какие-нибудь подробности! Ничего!

Может быть, те, кто писали о Каргополе раньше, до революции, помянул местную керамику?

На помощь приходит картотека библиотеки имени Ленина. Нашелся один такой любознательный автор. Некто Ф. К. Докучаев-Басков опубликовал в 1913 году «беглый очерк» о Каргополе². В числе достопримечательностей города описаны базары, а на базарах — керамика: сделанные из черной глины горшки, крынки и латки.

«Из той же черной глины, — продолжает бытописатель, — лепятся различного рода игрушки, неизменно бывающие на базаре: лошадки — на воле, в упряжи и с верховым; солдатики, куры, фигуры баб (эти последние фигуры, скорее, напоминают изделия людей

¹ О. С. Попова. Русская народная керамика, М., Всесоюзное кооперативное изд-во, 1957, стр. 121.

² Ф. К. Докучаев-Басков. Каргополь, Архангельск, 1913, стр. 16.

каменного века), «утушки» для свистания и наигрывания (эта детская свистулька имеет за собой порядочную давность, черепки ее находятся даже при разработке давным-давно нетронутой почвы)... В последнее время сбыт на эти игрушки пал, и производство их уменьшается».

Перед нами единственное опубликованное свидетельство очевидца той поры, когда каргопольские игрушки постоянно продавались на местном рынке.

Итак, еще в 1913 году каргспольские игрушки существовали. Однако с тех пор прошло не так уж мало времени — полстолетия.

На всякий случай отправляюсь в музей народного искусства на улице Станиславского. Надо же хоть взглянуть на две каргопольские игрушки, помещенные без всяких пояснений в книге О. Поповой.

— Две? — удивляется Антонина Андреевна Абрамова, хранительница музея, нежно любящая свои «пленные» экспонаты, упрятанные в ящики, коробки и шкафы, так как поместить их в экспозицию нельзя из-за невероятной тесноты. — Две? Да у нас из Каргополя свыше двадцати игрушек.

Вот это неожиданность!

Игрушки все того же Дружинина из деревни Гребнево, как значится и в музейных карточках, исключительно интересны во всех отношениях — и по тематике, и по лепке, и по раскраске.

Прежде всего, все вещи — определенно русские, в общенародных традициях. В них есть кое-что общее со старыми «дымками», «вятками»: много «барынь», у которых юбка колоколом, и много животных, столь привлекательных для дымковских мастериц. Однако бросается в глаза сходство и с подмосковными богород-

скими деревянными игрушками и особенно с излюбленными для богородцев очеловеченными медведями.

Отчетливы и различия. Несомненно своеобразие каргопольских глиняных фигурок и в подходе к теме и особенно в раскраске и орнаменте.

Возьмем, например, барынь. У «дымок» барыня либо с зонтиком, либо с собакой. Если женская фигура дана с ребенком, то это уже не барыня, а «кормилка», она несет не свое, а «господское дитё».

А как разнообразны и порой необычны каргопольские «барыни»!

У одной важной дамы в широкополой шляпе и горжетке на руках птица, сложенная крендельком. У другой — шляпа, украшенная птицей, это — целое гнездо с четырьмя рогами или хвостами. Третья барыня в смешной шляпе, похожей на цилиндр, держит на руках не только птицу, но и собаку. Есть барыня с ребенком, с корзинкой, с медвежонком. Завершает этот необычный парад барынь женская фигура с вазой.

Мужские фигурки тоже очень разные. Это бородастый старик, сидящий в кресле, играет на гармошке; парень обедающий и парень, курящий трубку.

Образ медведя и в русском фольклоре и в изобразительном народном искусстве — один из наиболее любимых. Мастер — крестьянин или охотник очеловечивает лесного жителя и в соответствии с этим дает ему свои, крестьянские занятия. В каргопольской коллекции Московского музея народного искусства можно увидеть разных медведей: играющего на рожке, на гармошке, держащего чашу.

Из других животных интересен олень или лось в желтой курточке. Он тоже, как и медведь, изображен с чашей.

Раскраска барана совершенно фантастична: белая голова с зеленым носом, серые штаны, желтый расписной полушубок и желтые рога с серебряными точками.

Каргопольский игрушечник вылепил и козла с собакой, и пестрый самовар с чайником, и сцены катания на санях, где условность и обобщенность доведены до предела: голова и шея коня, сразу же сливаясь, переходят в... сани.

У дымковских мастериц роспись яркая, праздничная, тона — красный, зеленый, синий, розовый, ярко-желтый, золотая поталь четырехугольниками. У каргопольца — пристрастие к сочетанию блеклого охристо-желтого и серого тонов, иногда он применяет розовый и совсем редко зеленый. Когда мастер считает нужным выделить какую-нибудь скульптурную деталь, он сознательно дает особенно блеклую окраску. Обычны краски в тройном соседстве — черная, красная, серебряная. Резко отличен от дымковской росписи и орнамент каргопольских игрушек: здесь почти обязательны большие цветочные круги или кольца, кресты, линии в виде гребенки, усеченные овалы, зигзаги.

На карточках работ Дружинина из Гребнева стоит дата: «1935 год». Если в то время ему было лет сорок, то через двадцать три года должно быть шестьдесят три. Народ на Севере живет долго. Жив он или нет?

Решаю: обязательно надо поехать и поискать. И в 1958 году еду.

...Поезд Москва-Архангельск останавливается на станции Няндомы. Отсюда восемьдесят километров автобусом по нелегкой дороге. Зато, приехав в Каргополь, каждый вознаграждался даже только видом этого поистине прекрасного и своеобразного городка.

Он стоит на берегу широкой реки Онеги, несущей свои свинцовые воды из расположенного неподалеку

озера Лаче. Стоит со старинным земляным валом и красивыми каменными церквями XVI—XVII веков.

Один из путешественников, побывавший в Каргополе в начале нашего века, писал:

«Чуден Каргополь... когда вы смотрите на него... из-за реки — хотя бы, например, с северной стороны — от Спасского монастыря, и — особенно в минутное затишье — перед грозой, когда с запада подымается густая темная туча, чуть не касаясь шпиля могутной колокольни, а случайные лучи солнца сквозь прорывы облаков яркими тонкими снопами и широкими откосами спускаются на благословенный город, когда в широкой Онеге ярко отражаются стены мощных соборов, приходских храмов и группы нежащей зелени... Смотря на эту картину, вам чудится какая-то бессловесная, волшебная, таинственная песнь о красоте и о мощи!...»¹.

Я застал в Каргополе грозовой день и видел такую же густую темную тучу и на фоне ее ослепительные белокаменные стены старинных построек и могу понять и разделить чувства путешественника, восторгавшегося древним городом на Онеге.

Христо-Рождественский собор, начатый постройкой в 1552 году и сразу же после возведения сгоревший, укреплен по углам мощными каменными контрфорсами-подпорками. Белокаменные крыльца, переходы, пристройки — все пленяет безукоризненными пропорциями, изяществом оконных проемов, разнообразием кладки узорных наличников. В приделе я увидел старинный расписной столик, который украсил бы любой

¹ Ф. К. Докучаев-Басков. Каргополь, Архангельск, 1913, стр. 5.

музей: какая смелость русского орнамента, закрученного, пружинистого! Здесь же единственные хозяева столика — голуби.

На площади стоят еще две церкви. Одна, так же как и колокольня в центре, XVIII века. В другой, вытянутой и малоинтересной в архитектурном отношении, разместился краеведческий музей.

Хранилище древностей оказалось на замке. Директора приходится искать долго. Он, как и многие местные жители, часто пропадает на рыбалке, благо щук и окуней в Онеге и в озере видимо-невидимо.

Гремят церковные засовы и замки, скрипят ржавыми петлями тяжеленные кованые двери. Холодный полумрак встречает входящих. В залах и на стенах и под стеклом стендов много интересного: и бронзовые скифские украшения, и предметы трех-четырехтысячелетней давности из раскопанных курганов. Но я ищу позднюю керамику.

И когда я вижу ее, сразу мне ясно, что здесь работы того же мастера, что и в Московском музее народного искусства. Те же фигурки женщин, среди которых много таких, что не назовешь барынями. Это — крестьянки: с ребенком, с прялкой, с ягненком. Из мужских образов встречаются гармонист, двое танцующих и гребец в лодке, то есть люди на отдыхе, но гораздо чаще крестьяне — персонажи скульптурных сценок — изображены за их обычными деревенскими работами. Вот мужичок рубит большим топором дерево; пять коротких пупырышков вверху и четыре по бокам наивно, но убедительно, с учетом хрупкости материала, условно обозначают ветви. Другая глиняная фигурка воспроизводит представителя весьма уважаемой в деревне профессии — кузнеца. Третья — охотник целится из ружья в птицу, сидящую на дереве, четвертая — крестьянин

городит городьбу. Это пристрастие к изображению повседневного труда, как наиболее характерного и важного в жизни, резко отличается каргопольскую игрушку от дымковской. Своеобразна и роспись: серые и черные тона в сочетании с



розовым, желтым и серебряным узорами. На животных — баранах, оленях, лосях, — на юбках колоколом у женщин характерные разноцветные круги, нередко с крестом посередине.

Но в Каргопольском музее нет даже фамилии автора или названия деревни, где он живет и жил.

Впрочем, на эти вопросы мне сразу же ответила одна местная старожилка, во всех отношениях интересный человек. Стоило мне с кем-нибудь заговорить об игрушках или вообще о старине, как меня спрашивали:

— А у Кореневой не были?

— А с Клавдией Петровной вы беседовали?

И вот я беседую с ней. Домик ее стоит на набережной Онеги, неподалеку от родника с глубоким водоемом и кристально-прозрачной водой. Когда-то Клавдия Петровна была одной из первых делегатов и ходила, как принято было женщинами двадцатых годов, в красной кумачовой косынке. Работала в горсовете, заведовала районным архивом, а в последние годы выполняет обязанности уполномоченной по охране памятников старины.

Живая в общении, на язык бойкая, несмотря на солидные годы, она без уныния отнеслась и к тому, что начала слепнуть. По-прежнему ходила по городу, только ступая чуть осторожнее, чем раньше, выставя ногу носком вперед. И еще шутила:

— Я не дрожущая, не мерзлая, у меня предками твердый фундамент заложен.

К ней ходят школьницы-тимуровки, читают ей, пишут письма.

Познакомившись с ней и рассказав о цели приезда в Каргополь, я похвалил место, на котором стоит ее дом. Клавдия Петровна ответила:

— А давно ли он у меня, как маяк, один здесь красовался и кругом никакой постройки.

Про игрушки сказала так:

— Я помню то, что было шестьдесят лет назад, в 1898 году. Много глиняных игрушек продавали на базарах. А базары у нас по воскресеньям. С великого поста по понедельникам большие ярмарки — «первый сбор», «второй сбор», «третий». Приезжали из Кирилловского уезда Новгородской губернии, из Вельского уезда Архангельской губернии, из Шенкурска, Вытегры и других мест. А летом еще больше. Под Иванов день немалая ярмарка. Торговцы глиняными горшками и игрушками с ночи места занимали. Свистулька «утушка» копейку стоила, а самая затейная — пятак. Лепили оленей, коней, барашков, барынь, кадрили на четыре пары, пыльщиков — всего и не упомнишь.

Я рассказал Кореновой, что в Москве в Музее народного искусства есть игрушки Дружинина из деревни Гребнево и две фотографии приведены в книге О. Поповой.

Клавдия Петровна рассердилась:

— Всё напутали. Деревня вовсе не Гребнево, а Гри-

нево, мастер — не Дружининов, а Дружинин и зовут его Иван Васильевич. Он лепил и красил баранов, оленей, коней, ткачих, лесорубов, охотников. Я к нему два раза ездила. В 1938 году с сотрудницей Загорского музея игрушек, а в 1939 году краски возила. На мое имя они пришли из того же музея. Так мне ли не знать Дружинина?

— А игрушки в здешнем музее — тоже его?

— Его. Кроме одной. Домик там есть облитой. Мастер Часовников делал.

— Жив сейчас Дружинин?

— Умер в 1949 году.

Погоревали мы об этом, и разговор вроде бы подошел к концу: умер старый мастер, а новых нет. Но меня интересовали подробности об исчезнувшем промысле. Клавдия Петровна вспомнила:

— Еще из Исторического музея приезжали и спрашивали про Дружинина. Правда, их экспедиция занималась другими видами народного искусства, но мне говорили, что где-то напечатано несколько строк о каргопольских игрушечниках.

Действительно, в «Кратких сообщениях Института этнографии» отыскал я небольшую заметку¹. В ней сообщалось о посещении деревни Гриневе и высказывалось мнение, что раскрашенная каргопольская игрушка «особенно близка к игрушке, изготовленной около г. Кирова» и что «в сюжетах игрушек также много общего». Назывались и сюжеты: «женская фигурка в расширенной книзу юбке, в кокошнике» (иногда она изображается с поднятыми руками, держащими птиц), «вершник» (всадник), конь, лось... «утушка», корова,

¹ «Краткие сообщения Института этнографии», кн. VI, М.—Л., 1949, стр. 8.

баранчик и т. д. «На фигурках животных — коня, лося, уточки — всегда имеется изображение круга...»

Теперь уже я знал, что это не очень точные, а порой и случайные впечатления. Различие каргопольских и дымковских игрушек более значительно, чем их сходство, а в перечне сюжетов нет как раз самых характерных для Дружинина.

Но отмечена хоть одна своеобразная черта — круг в росписи, — и то хорошо.

Так постепенно накапливались хотя и скудные, хотя и о промысле, который угас, но все же интересовавшие меня сведения, по сути своей уже исторические.

Однажды я пришел к Кореновой и сказал, что собираюсь ехать в село Лядины, а деревня Гринево — по дороге, и я все же побываю на родине Дружинина.

— Машина есть? — оживилась Клавдия Петровна. — Так я тоже поеду!

И, так сказать, «на дружбу» вынесла вдруг небольшое деревянное резное изображение солнца. Часть старинного креста, замечательная по простодушию приема в народной условности вещь тайла в себе языческую прелесть.

Лучшую попутчицу, чем Клавдия Петровна, я не смог бы найти, хотя уполномоченной по охране памятников старины шел уже седьмой десяток.

Мы ехали полями и перелесками, где росли знаменитые на весь мир каргопольские рыжики (их засаливают в бутылках, и грибки должны быть столь малы, чтобы проскальзывать в горлышко). Всю дорогу до Гринева Клавдия Петровна рассказывала мне историю за историей.

— У нас ведь на каргопольской земле разных кладов тьма-тьмушая. Помню, году в двадцать шестом или седьмом Андрюшка (невесткин брат, сирота, он у

нас воспитывался, так что и мне вроде брата) прибежал и кричит: «Клавдия, давай мешок и лопату». Я, было, к нему с вопросами, а он схватил, что просил, и бежать. Вечером вернулся, а в мешке черепки. Рассказал, что пошел с приятелями в Кубенино — туда, где из озера Лаче выходит Онега. Стали купаться, Андрей нырнул и наколол ногу. Поинтересовался, что там на дне такое, и вытащил бронзовую серьгу с завитком. Ей, поди, больше тысячи лет.



А потом ребята легли на песок, ковырнули, а под рукой черепок необычный, с узором. Вот парень и побежал домой. Вернулся в Вологду — он учился в совкартшколе — и отнес в музей. Его поругали, что самовольно вел раскопки, а за принесенное все же поблагодарили.

А то еще жил тут у нас Шумовский, сын фельдшера, погиб в войну, так он вместе с Готовым побывал в подземном Каргополе. И Коцов Анатолий с ними, внук купца.

Нашли подземный ход. Два мотка веревки извели, все шли по ходу. И вышли, наконец, в часовню. Большие лики богов, витые подсвечники, кольца в стенах и скелеты. Искателей этих теперь нет, а где ходы? Неизвестно.

В сорок первом, в начале войны, военкомом служил у нас Тыркусов. Я с ним знакомство свела: шила для армии кисеты из поповых риз. Сказала ему о подземной часовне. Стал он ломом рубить — видит, действительно кладка. Но оказалась эта кладка такой крепкой, что прорубиться в подземелье он не смог. Пообещал: «Я ученье устрою, будто окопы будем рыть...» Но его перевели в другой город, и с тех пор все замолкло. А ведь там много интересного можно найти. На огородах ребятишки находят то серьгу, то каменный наколечник для стрел...

...Впереди показалась деревня Гринево, Печниковского сельсовета. Дома старинные — есть поменьше, есть побольше, а иногда попадаетесь сказочное строение: рубленая из вековых бревен двухэтажная хоромина да еще с надстройкой — вышкой вроде терема или башни. А у терема — резные колонны, на двойных окнах вверху резная доска будто с вышивкой, на других окнах наличники. В одном из таких домов жил Иван Васильевич Дружинин, автор замечательных глиняных игрушек, хранящихся в музеях.

Рассказали о нем старики-соседи:

— Дедко Иван умер в 1949 году. Трудно тогда жили. А началась работа с того, что отец его, Василий, крынки на гончарном круге лепил. Сын ему помогал, а потом вздумал из той же горшечной глины разные фигурки лепить. Продаст на базаре — и того больше лепит. Но ведь не он один лепил...

Выяснилось, что в деревне Олеховской делал глиняные (или, как их здесь называют, «гниляные») игрушки маляр и живописец Петр Иванович Черепанов, более известный по прозвищу Пеша Каличев. Он расписывал ставни на избах, прялки и популярные в этих местах «двойные» шкафы, ящики которых выдвигаются

на две стороны — и из одной и из другой, соседней, горницы. Мотив росписи по дереву: белый вазон с четырьмя пунцовыми розами и двумя десятками зеленых листьев, расположенных в определенном порядке.

В семье Черепанова женщины лепили игрушки, а глава семьи их раскрашивал, придерживаясь на этот раз традиций, существовавших у местных игрушечников.

Впрочем, судя по всему, не один П. И. Черепанов занимался в этих местах украшением крестьянских изб. И в Гриневе и в других деревнях часто можно видеть расписные ставни. Обычно на каждой из створок такой ставни по три прямоугольника (средний поменьше) и на каждом написан красный розан с белой оживкой и в окружении зеленых листьев. В углах прямоугольника две-три скобки. Иногда весь прямоугольник заключен в рамку.

Применяется роспись и внутри изб. Сохранилось немало посудных шкафов с расписными дверцами, хотя, повинаясь моде, молодое поколение деревенских жителей стремится заменить дедовскую «старомодную» мебель на более современную.

Именно в силу этого у меня появилась расписная филенка из старого поставца, выброшенного на улицу. Здесь в красной рамке белый ромб на зеленом фоне, а в ромбе композиция из двух не то розанов, не то яблок (в Городецком районе Горьковской области подобную деталь росписи тоже зовут и яблочком и розаном), с листьями и тремя оттененными черной краской бутонами.

В деревне Антоновская (Лядины) поставцы расписаны более сложными узорами. В доме Маремьяны Петровны Бутиной стоит шкаф, где на квадратных филенках внутри двойной рамки букет из четырех красных

роз в белой вазе. Листья роз в виде растушеванных скобок.

Умер мастер в 1932 году, и никто из близких не унаследовал его искусства.

В деревне Огнево игрушками занимались трое. Не старый еще инвалид Александр Прокопьевич Давыдов делал крынки и лепил петушков, волков и «барышень». Он умер в 1946 году. Алексей Григорьевич Часовников (умер примерно в 1938 г.) мастерил не только баранов, оленей и «барынь», но известен и двумя необычными сюжетами. Первый сюжет—тройка. Второй—тридцати сантиметровая глазурованная часовенка с куполом-полушарием и витыми колоннами. Наверное, от этих любимых мастером игрушек-часовенок возникла и его фамилия. Третий здешний мастер-старик Иван Дмитриевич Черепанов, — видимо, не очень искусный, так как его мало кто знает.

Вдова Давыдова рассказывала мне, что местные мастера сушили игрушки на «воронцах» (полках вдоль и посреди избы), потом обмазывали дегтем, обсыпали свинцовой крошкой и везли обжигать в помещение, которое называется «красильней».

— На каждую неделю печька была! — по-северному цокая, говорит Давыдова.

Была...

Итак, умер не только Дружинин, но и все его товарищи по народному гончарству.

— А Дружинин так никому и не передал свое мастерство? Сыновья в семье остались? — поинтересовался я.

— Четверо дочерей у Ивана Васильевича. Ни одна не берет в руки глину. А вон напротив живет старушка-девушка Ульяна Ивановна Бабкина, так она насмотрелась на игрушки деда Ивана и стала лепить.

Боясь верить в удачу, мы перешли через дорогу и увидели еще крепкую улыбчивую старушку в белой кофте и черном в крапинку платке. Она стояла у большого, красиво срубленного, с навесом и резными колоннами колодца и крутила большое деревянное колесо, подымая полное ведро.

Бабкина уже прослышала, что приезжие интересуются игрушками, ожидала прихода, решила поставить самовар и пошла за водой.

Внутри избы и тесновато и небогато. Да и что можно ожидать в жилье старухи-бобылки? Рассказывает она о семье:

— Нас у батюшки росло четыре дочери: Марья, Паладья, Ольга да я. Всех бог прибрал, и батюшку с матушкой и сестер, одна я вековушка осталась. Родилась в 1888 году. Сейчас мне шестьдесят пять, а игрушки леплю с пятнадцати лет.

Видимо, не у одного только соседа Дружинина училась Ульяна игрушечному делу: и отец и сестры в былое время тоже готовили к базару разную глиняную мелочь.

На игрушки идет местная красная глина. Обжигает свои игрушки Ульяна Ивановна «по-домашнему»: пос-



ле того как в течение двух-трех дней слепленные фигурки подсохнут на «воронцах», укладывает их в русскую печь вокруг поленьев. Едва дрова прогорят — засыпает своих медведей и утушек углями и держит так, пока игрушки не прокалятся. Потом вынимает на шесток. Постепенно фигурки охлаждаются.

Ульяна Ивановна сама называет излюбленные темы:

— Барышня, баран, медведко, мужик в лодке, самовар на подносе, собака, утушка...

Показывает она и игрушки. Они поменьше дружининских — сантиметров восьми-девяти. Из-за нехватки красок роспись довольно простая — кирпично-красным, черным и вяло-зеленым тонами. Но работает она даже при скудных красочных возможностях не без выдумки. Так, у белой утушки красная головка, а глаза и перышки намечены черным. У белого медведя на лапах красные валенки и вокруг туловища двухцветный красно-черный пояс. У белого барана — красные рожки, на боках орнамент: круги с крестами внутри, гребенки черточек, гнезда точек, зигзаги.

Традиционный каргопольский круг в узоре встречается не всегда, но и это, так же как и бедный колорит, вызвано случайными обстоятельствами: надо к базару побольше успеть, да и с красками трудно — неоткуда взять. Бабкина почти не выезжает из деревни и игрушки сдает тем, кто отправляется в город на базар.

Когда мы говорили ей, что она хранительница старинного народного каргопольского искусства, что творит большое и нужное дело, Ульяна Ивановна светло, по-детски улыбалась, согласно кивала и шептала:

— Вот... я тоже считаю: нужно хранить красоту.

Чем больше я смотрел на роспись игрушек Бабки-

ной, тем больше замечал сходство с росписью Дружинина. Элементы орнамента определенно те же: круги, а внутри их пятна другого цвета или кресты, гребенки линий, вертикальная черта, а по бокам черточки вроде еловых веток с опущенными вниз концами. И вместе с тем росло чувство беспокойства. Что-то еще напоминали мне бабкинские узоры. И вдруг, как озарение: орнаменты на черепках четырехтысячелетней давности — из Кубенино и Гостиного Берега. Ведь и там тоже круги, кресты, гребенки линий, зигзаги, «елочки», усеченные овалы. Об этом я читал когда-то в работе М. Фосс по археологии русского Севера.

Живя по-соседству, одни племена не заимствовали орнамент у других, а свято хранили свой. Это были этнические признаки, знаки рода и племени.

Вот потому-то и сохранились в Каргополе узоры, которым три и четыре тысячи лет. И одна из хранительниц древнейшей орнаментики — Ульяна Ивановна Бабкина.

Возвратившись в Москву, я первым делом отправился к секретарю Союза художников СССР, большому знатоку и любителю русского народного искусства, особенно керамики, Александру Борисовичу Салтыкову (ныне покойному). От имени руководства Союза написали письмо Архангельскому отделению Союза художников и Архангельскому отделению Художественного фонда. Через некоторое время приехали в деревню Гринево к Ульяне Ивановне Бабкиной с заказом на каргопольские игрушки для музея.

Затем я достал сухих красок, в которых так нуждалась мастерица, и послал ей посылку. В журнале «Декоративное искусство» поместил статью о каргопольской керамике и об У. И. Бабкиной. Большой заказ сделал гриневской мастерице Музей народного ис-

кусства в Москве. А еще через месяц или два получил посылку и я. Ульяна Ивановна послала мне пятьдесят игрушек. Как разительно отличались они от тех маленьких и бедненьких баранов, медведей и утушек, которые она высыпала из решета в подол своего платья в Гриневе!

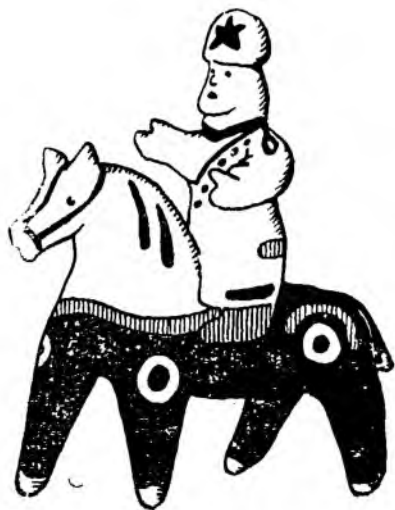
Из красок больше всего, видно, пришлось по душе Бабкиной зеленая. В сочетании черной и белой (каргопольская цветовая традиция), а также с малиновой получилась новая гамма — яркая, радостная. Как правило, рубашки у мужчин и кофты у женщин — зеленые, а брюки и юбки черные, иногда юбки красные. И в узорах всюду каргопольские круги.

А какое разнообразие тем! И опять-таки сюжетное богатство развивалось в соответствии с каргопольскими особенностями: не только ирония к «господам», не только праздничность, как у дымковских мастериц, а и темы, взятые из трудовой крестьянской жизни.

Передо мной как бы развернулась картина северных деревенских будней. Тут и «вершники» на лошади, и охотник с собакой, стреляющий в глухаря на дереве, и кузнец с молотом у наковальни. Женщин — отнюдь не барынь, а явных крестьянок — Ульяна Ивановна изображала то с блюдом, полным пирогов, то с ребенком, то с птицей.

Но и «праздничные» темы, как часть тем общежитейских, тоже не оставлены Ульяной Ивановной без внимания. Самая любимая ею — «кадриль» — танцующие пары. Есть также бражники в лодке, гармонисты в лодке и в кресле.

Любит изображать Ульяна Ивановна и животных. Больших баранов и оленей-лосей с голубыми мордами, сиреневыми рогами и кругами на боках, как делал Дружинин, она не мастерит. Ее животные поменьше, а



в раскраске чуть поскромнее дружининских, но и в этой области Бабкина обнаруживает зоркий глаз и незаурядные способности к пластике и росписи. Она лепит оленей с зелеными рогами и сине-красными кругами, черных медведей с зеленой гармошкой, красных коров с белой мордой, с цветными кругами и крестами и очень нарядные свистульки, о которых хочется сказать особо.

Повелись эти свистульки на русской земле с незапамятных языческих времен, существовали они у нас повсюду, а сохранились больше всего на Севере, потому что жизнь здесь текла спокойнее и исконные устои разрушались медленнее. Сюда не доходили чужестранцы, местных жителей мало касались вражеские нашествия, а нравы, поверья, обычаи передавались из рода

в род. Когда-то свистом наши предки пытались отогнать «нечистую силу». Потом свистульки стали служить забавой ребятишкам. Но в форме свистулек Ульяны Ивановны Бабкиной в неприкосновенности сохранились отголоски древних языческих верований. Наряду с «утушками» каргопольская игрушечница часто лепит свистульки в виде вещей птицы счастья Сирина, которую в рукописных книгах или же в росписях бытовых предметов всегда изображали с женской головой. У Бабкиной эти маленькие фигурки окрашены в самые яркие цвета — малиновый или зеленый. На туловище — три выступа, обозначающие лапы и хвост. Голова человеческая, с рельефным носом. Глаза проделаны тычком. На голове крестьянский кокошник. Раскрашена эта маленькая игрушка ярко: синяя полоса на кокошнике, синий круг на месте крыльев и зеленые и желтые пятнышки.

Так родовые и племенные каргопольские орнаментальные знаки, древние языческие верования о магической охраняющей силе свиста, символический образ птицы счастья слились воедино в творчестве народной мастерицы, которая ничего не знает ни о племенных знаках, ни о птице Сирин, ни о том, что когда-то означал свист.

В августе 1964 года в Москве проходил VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. Свыше двух тысяч ученых из пятидесяти пяти стран мира собрались в актовом зале Московского государственного университета на Ленинских горах. В течение семи дней работали двадцать шесть секций и семнадцать симпозиумов, на которых с докладами выступили антропологи, этнографы, языковеды и искусствоведы.

На открытии конгресса прозвучали слова замести-



теля председателя Совета Министров СССР К. Н. Руднева:

— Мы считаем своим интернациональным долгом способствовать развитию и расцвету всех национальных культур, что укрепляет дружбу и взаимопонимание между народами разных стран и континентов.

Среди тем, посвященных русской культуре и русскому народному искусству, были доклады о национальном своеобразии в искусстве современных художественных промыслов РСФСР, о типах русской северной росписи на бытовых предметах, о новых материалах, связанных с архитектурой русского народного жилища, об особенностях развития архитектуры народного жилища в Сибири.

Мне как участнику Конгресса также довелось сделать доклад. Тема: «Новое и малоизвестное в изучении русского искусства»¹. В нем я коснулся проблем росписи по дереву на севере России (Шенкурск, Полховский Майдан, Нижняя Тойма и др.) и рассказал о древней орнаментике глиняных игрушек Ульяны Ивановны Бабиной.

Снял я цветной фильм о том, как в лесу бродят медведи и олени, как выходят на дорогу охотники, как у колодца ждут их и судачат женщины, пока стадо не вернется с пастбищ, как трудятся кузнец и лесоруб,



¹ Ю. Арбат. Новое и малоизвестное в изучении русского искусства. М., «Наука», 1964.

как вечером веселятся и танцуют под гармонь жители деревни. «Артистами» стали только персонажи Ульяны Ивановны Бабкиной. Оказалось, что их вполне хватило, — так полно и ярко отразила эта тихая и скромная старушка увиденный ею деревенский мир.

А потом оставил себе на память о поездке в Каргополь и Гринево несколько игрушек — свистульку-Сирин, кадрили, женщину с ребенком, охотника и лося, а остальные передал часть в Исторический музей, часть в Музей народного искусства, а часть подарил ценителям народного искусства — у нас такая керамика стала сейчас самой популярной. Наверное потому, что она лишена показной пышности, искренна и просто-душна.

И тогда я еще раз подумал о том, что не зря, как охотник, шел по следам каргопольской культуры, существовавшей четыре тысячи лет назад, и увидел, что мотивы ее орнамента дошли до наших дней.

ЗЕЛЕННЫЕ КОНИ



НОГДА говорят: «как в сказке».

А как в сказке?

Очевидно, и как в жизни, и необычнее, красивее, волшебнее. Горький писал:

«Сказки открывали... просвет в другую жизнь, где существовала и, мечтая о лучшей жизни, действовала какая-то свободная бесстрашная сила».

Помню, много лет тому назад увидел я расписную прялку. Сочетание золота и красного цвета делало эту вещь нарядной, праздничной. Наверху, справа и слева художник изобразил окна с такими цветами, каких не сыщешь ни в одном цветнике, хотя они и напоминали то ли розы, то ли маки. Между окнами на красных кудрявых ветках сидели голова к голове две чудо-птицы. По бокам художник расположил еще более необычных птиц, вроде пышнохвостых павлинов, но наряднее настоящих. А подо всем этим, вот уж подлинно сказочным цветником с гамаюнами и сиринами — вестниками счастья, во всю ширину прялочной доски красовалась пара золотых коней, запряженных в крытый возок, и на козлах — лихой ямщик, туго натянувший вожжи. Не просто седока везет добрый молодец, не в обычную поездку снарядился он, по всему видно — это свадебный выезд: как торжественно и гордо выступают кони, как празднично изукрашено все вокруг! Надпись не оставляет сомнения в том, что нарисовано на прялке:

«Везет ямщик девицу в повоске на златогривых лошадях».

Нужды нет, что золотые не гривы, а сами кони, и что написано «повоске», а не «повозке», как, соблюдая правила, следовало бы писать, — видимо, художник и рисовал по традиции, и писал по традиции, и не все связывал воедино. Вот так же и сказка сказывается: как от бабок и прабабок завещано, как испокон веков передавалось. И разве не сказочны и золотые кони, и райские птицы, и фантастические деревья, и завитки красных листьев?

Не даром на других прялках художник приводил заповедную надпись, также сохраненную по наследству от дедов-прадедов:

«Эта прялочка изрядна, а хозяйюшка обрядна».

По строю старинной русской сказки изображались на прялках то торжественный свадебный выезд, то известная тоже только по сказке страшная картина нападения грозного льва на всадника, то сцена на поседках, где девушки заняты прядением.

Какую бы тему ни брал народный художник, расписывавший прялки, он оставался верен освященной веками манере украшения, характеру росписи, нарядности и народности орнамента, праздничному колориту.

Я ходил тогда по залу музея, раздумывал обо всем этом и жалел, что так глухо и неопределенно указан адрес неведомых художников: Северная Двина.

Легко сказать: Северная Двина! Это река немалая. Протянулась она на семьсот с лишним километров от прославленного и древнего города Великого Устюга, где слились, сдвинулись воедино реки Юг и Сухона, образовав новую могучую реку Двину, — и до Архангельска, где после бега по северным русским землям, освоенным некогда новгородцами-ушкуйниками, река отдает свои щедрые воды Белому студеному морю. В каком ее течении — верхнем, среднем, нижнем, — в какой излучине, возле какого плеса или быстрины, на каком угорье расположено то село, где живет — а может, и жил да умер — художник, порадовавший нас золотыми конями и вещими птицами? Кто он есть или кто был? Что любил, чему радовался? Как родились, откуда взялись поэтические образы, украсившие прялки?

Ни на один из этих вопросов несколько лет назад никто не смог бы дать ответ. Сообщат только «Северная Двина» — и за то спасибо. Хотя различие манер

в северо-двинской росписи бросалось в глаза, и В. М. Василенко отмечал это еще в сороковых годах¹.

Научный сотрудник государственного Исторического музея в Москве Софья Константиновна Просвиркина, всю жизнь отдавшая розыскам и описанию произведений русских резчиков по дереву, сделала в 1956 году наблюдение, как будто бы и простое, но для истории русского народного искусства важное и интересное. Среди экспонатов музея находилась расписная детская зыбка — колыбель. На ней легко прочитать надпись:

«Сия колыбель Пермогорской волости деревни Запустенской казенного крестьянина Николая Матвеева сына Смиренникова окрашена 1876 года».

Просвиркина не без остроумия решила: вряд ли такую тяжелую деревянную вещь повезут далеко от места ее изготовления. Очевидно, и художник, автор росписи, жил в Пермогорье.

Но в то время это была всего лишь догадка, справедливость ее оказалось возможным подтвердить только после поездки в эти места летом 1959 года научного сотрудника Загорского музея-заповедника Ольги Владимировны Кругловой. Да, в Пермогорье — этом кусте из многих сел, так же как и в другом, соседнем кусте — Мокрой Едоме — жили и работали художники, авторы росписи в черно-красной гамме по желтому фону.

* * *

...Моросил противный мелкий дождик. В райкомовском «козлике» вместе с работниками Красноборского райкома летом 1960 года мы колесим по грязи до

¹ В. М. Василенко. Русская народная резьба и роспись. Гос. архитектурное изд-во, 1947, стр. 40—41.

рог. Маршруты наши совпадают, но задачи разные: райкомовцев интересует, как идет закладка силоса, а я, радуясь тому, что попал в Пермогорье, прежде всего разыскиваю произведения народного искусства и сведения о мастерах. Прялки теперь, конечно, не используют, нередко они уже расколоты на лучину и спалены в самоваре. Но ведь мог же кто-нибудь забросить их на чердак? Я, по крайней мере, надеюсь на это.

Неприглядна в ненастную погоду деревня Погорелово — одна из тех, что входит в общее понятие Пермогорья: унылый дождь загнал всех по домам. Входим в избу Клавдии Дмитриевны Жигаловой. Местный учитель в сенях сообщает:

— Зовут деревню Погореловой — это после пожара, а до того именовалась Жигаловой. Чуть ли не все жители эту же фамилию носят.

Клавдия Дмитриевна на наш вопрос о местной росписи прялок вместо ответа достает с полатей прялку с узорами, похожими на те, что известны по старинной зыбке из Исторического музея. А потом с тех же полатей снимает берестяное лукошко. Я глазам своим не верю: весь борт лукошка, или, как это здесь называют, «наб́ирухи», украшен изображениями красно-желтой с девичьим лицом птицы счастья Сирин, задорных петухов и узором на кудрявой вязи. Одна часть борта отдана лесной сцене, какой я не видел ни в одном музее: дан силуэт леса, а у деревьев люди — один рубит, другой сдирает луб, третий подсекает, чтобы полакомиться хмельным березовым соком. Интересная находка.

— Откуда у вас это, Клавдия Дмитриевна?

Жигаловой не очень понятен интерес к такой обычной в здешних местах домашней вещи. Она улыбается и пожимает плечами.



— Это еще от матери осталось, — говорит она. — Подарила мне в приданое, дай бог памяти, в каком же году?

Высчитывает что-то в уме и сообщает:

— В девятьсот пятом.

Потом показала красивую прялку.

Я подумал: может, это тоже работа народного художника Дмитрия Федоровича Витязева, о котором сообщали участники загорской экспедиции. Они привезли подобную, но с другим рисунком и собрали сведения о семье Витязевых. Яков Дмитриевич унаследовал искусство от отца. Родился он в 1878 году, а умер совсем недавно — в 1950-м. Жене его, Пелагее Андриановне, ведомо то же мастерство. Она умело расписывала обиходные предметы — туеса, набирухи, прялки. Владели росписью и сестры Якова — Марфа и Анна. Но никто из этой семьи не подписывал своей работы — не водилось так делать, — и сейчас только по смелой манере узорного рисунка можно угадать «витязевский стиль».

Расспрашиваю, нет ли у кого из соседей таких же расписных предметов. Жигалова называет несколько фамилий колхозников, где, «поди-ко, сохранились дон-

ца от прялок». Набирухи — она знает точно — ни у кого нет.

— А бывало, что и санки валялись, все краской изукрашенные, и туеса с узорами, да приезжала из Москвы одна учёна — все в музей увезла.

Речь явно шла о Кругловой.

И вдруг Жигалова разговорилась:

— А может, вам интересно, я расскажу: ходил перед революцией по деревням Василий Юркин, нездешний, расписывал опечье, балконы, подзоры.

Василий Юркин... Вот еще одна неведомая доселе фамилия народного художника, украшавшего жизнь северодвинских крестьян. Участники загорской экспедиции отыскиали роспись дверей, сделанную И. Юркиным. Кто он, отец ли, брат ли Василия — разве сейчас узнаешь?

В расположенной неподалеку деревне Максимовской (Сорокиной) в одной избе пьем «черемуху» — хмельной напиток из вываренной черемухи на дрожжах и сахаре — и закусываем рыбниками — пирогами с соленой рыбой. Анна Николаевна Сорокина (опять фамилия по деревне) обтирает передником прялку, снятую с горницы.

— Ей сто годов, поди! — объясняет она. — Это у моей свекрови свекровь, так прясница ейная.

Снова удача. Местные пермогорские мастера, видимо, считали себя свободными в выборе сюжетов для росписи, но больше всего любили изображать счастливую птицу Сирина, черные силуэты коней — богатство здешнего трудного северного хозяйства. Нравилось им показывать и чаепития — самое большое удовольствие в длинные и вьюжные зимние вечера. Но на лопасти прялки, отысканной Анной Николаевной Сорокиной, — чаепитие особенное. Обычно за столом сидит парочка:



девица в кофте с пышными рукавами наливает чай из самовара, а парень держит чашку. Вверху без всякой симметрии расположено приоткрытое на одну створку окно, а внизу обязательно кошка—символ домашнего спокойствия и уюта. А вот тут за столом уместились трое. Видно, мастер, расписывавший донце, получил определенный заказ: «изобрази не какое-нибудь, а наше семейство, и меня с мужем и папаню». Бородатый «папаня» восседает в центре на почетном месте.

А возможно и другое объяснение. Ведь обычно прялка являлась подарком жениха невесте, и роспись часто изображала либо «катанье» (жених везет невесту), либо первую сцену в мужнином доме: жена-хозяйка за столом.

Сорокина словоохотлива:

— Это что! — машет она рукой, откладывая прялку, которая мне приглянулась. — Произошел у нас та-

кой случай с прялкой. Вышла девка замуж через два двора от меня. Живут ладно. Принесла мужу дочку. Соседи смеются: «У тебя баба лаптем ступила». Это присказка такая. Мужу, конечно, желательно сына. Он заказал прялку со значением. Мастер нарисовал мальчика в красненькой рубашечке, а сапожки черные. Смекаешь, к чему? «Пряди, мол, милая, да по-сматривай». Когда сын родится, здесь говорят: «Сапожком жена ступила». И хочешь верь, хочешь нет — эта баба-то в другой раз сына мужу и принесла...

Неподалеку от Пермогорья разбросаны по низине деревеньки, объединенные одним именем: Мокрая Едома. Там, в Черепанове, и сейчас живет восьмидесятилетний мастер Дмитрий Андреевич Хрипунов, последний из трех братьев, перенявших искусства отца и деда.

Про младшего брата из этой семьи — Василия — О. В. Круглова писала:

«Работы братьев кажутся очень сдержанными, приглушенными по цвету по сравнению с росписями Василия Андреевича — младшего брата. Его прялка с надписью: «Работал Василий А. Хрипунов» — производит совершенно иное впечатление. Яркие, насыщенные цвета росписи прямо-таки горят на белом фоне. Это наводит на мысль, что он учился не только у своего отца Андрея Игнатьевича Хрипунова, но и усвоил манеру одного из ведущих мастеров промысла — Егора Максимовича Ярыгина (1870—1950), имя которого мы слышали первым почти в каждом доме»¹.

Это верно. О нем не только в Мокрой Едоме, но и на дальних берегах Северной Двины говорят с особым

¹ О. Круглова. Северо-Двинские находки. — «Декоративное искусство», 1960, № 3, стр. 34.

уважением. Е. Ярыгин свято выполнял традиционные приемы пермогорской росписи: главным сюжетом верхней части прялочного донца у него обычно являлась птица Сирин, а внизу — катанье на санях или просто лошадь, хотя можно встретить и прядение на поседках и другие сюжеты. Свободное пространство между отдельными элементами жанровой сценки заполняется витками пермогорского узора, а верх плоскости и ободок круга с птицей украшен красными и зелеными зубцами-треугольниками. Но все это написано не по точной разметке, а решительной рукой мастера, который не задумывается ни секунды: если где-то останется свободное место, он тут же сделает дополнительный виток, пучок травы, цветок, кружок, а то и петуха — все, что потребует красота.

В соседней деревне Селезнев Починок и сейчас живет внучка одного из художников Ярыгиных — Егора Максимовича.

Легко и свободно, хотя и несколько дробно, расписывал прялки житель деревни Помазкино Александр Лукич Мишарин (умер в 1932 г.), много работали и его брат Василий (умер в 1919 г.) и семья Хвостовых.

В деревне Поднегла, принадлежавшей к другому гнезду деревень, носящему название Дракованова Кулига, полюбовался я прялкой, расписанной совсем необычно: через всю лопасть тянулся вверх росток, а плавным, закругленным движением по обе стороны раскинулись гордо приподнявшиеся ветви с фантастическими листьями. В промежутке между ними художник наставил точки, подобные зернистому жемчугу.

Я вспомнил эту прялку, когда по заботливо проложенным доскам перебрался через болото, на старинном долбленом челне переехал реку Уфтыгу и оказался в деревне Черная Горка, в доме колхозника

Дмитрия Матвеевича Новинского. Вспомнил, потому что его роспись очень напоминала помещенную на прялке Поднеглы.

В ту пору Новинскому исполнилось семьдесят четыре года, но он с гордостью сообщил, что в прошлом году на его счету сто тридцать трудодней, а прежде мог назвать цифру и покрупнее — три сотни с лишним.

Колхозная работа Дмитрия Матвеевича — это изготовление и раскраска берестяных туесов для меда, грибного соленья и клюквы. У Новинских это ремесло родовое. Отец Дмитрия Матвеевича — Матвей Васильевич — тоже делал и красил бураки. Он возил их в Устюг на «сборбище» в первое воскресенье великого поста. Дмитрий Матвеевич приучился к мастерству с детства и в пятнадцать лет уже занимался росписью.

О своей работе Новинский отзывается скромно:

— Делаю «свальные» для артели. Когда думаешь о том, как бы поболе свалить, — много-то не красишь на каждом туесе. А при случае можно и побогаче расписать.

Я видел его роспись неспешную, да и мне на заказ он выполнил очень красивые туеса. Мастер красил, как он сам говорил, «по красной земле, по белой земле и по желтой земле», то есть на разном фоне. Обычно «сажал цветы»: из красного вазона вытягивался белый росток; по обе стороны два желтых листика и два зеленых завитка, а по ним еще острые бутоны. На вершине — пышный русский тюльпан, как будто сошедший со старинной узорной басмы на иконе северного письма.

В том же стиле вели роспись туесов мастера П. И. Трапезников, М. Д. Вешняков и другие. А раньше в одной только деревне Яншакове работали туеса свыше двадцати семей.



Загорской экспедиции удалось не только познакомиться с пермогорской росписью, но найти центр росписи совершенно другого характера: на белом или золотом фоне изображался торжественный парный выезд. Эти мастера жили уже не в Мокрой Едоме и не в Драковановой Кулиге, а значительно ниже по Северной Двине, возле устья речки Нижняя Тойма. Экспедиция вывезла оттуда самые нарядные прялки, сверкающие золотом и горящие пламенной киноварью. Хотя они совсем не походили на пермогорские, их раньше называли тем же именем: «северодвинские»¹.

Я любовался яркой росписью и жалел, что так мало значения придают этой своеобразной декоративной живописи. Даже в областном Архангельском музее (Верхняя и Нижняя Тойма находятся в Архангельской области) не было нижнетоемской прялки не только в

¹ Позже там побывала экспедиция Исторического музея.

экспозиции, но и в фондах. Жаль, что не перешла эта роспись и на другие, более современные предметы, так, допустим, как палешане перенесли стиль иконной живописи в миниатюры на черные шкатулки из папьемаше.

Когда я ехал в Пермогорье, то знал уже, что попаду в Нижнюю Тойму, — статья О. В. Кругловой служила мне путеводителем.

«Хотя бы одну сказочную прялку достать, — мечтал я. — Повесил бы ее на стену и любовался узорами из красных трав, нарядными золотыми конями и ухарем-ямщиком в стародавнем петровских времен кафтане».

И вот уже всё позади: вместе с районным прокурором, отправившимся для какого-то расследования, летим по водной глади Двины на моторке, которую здесь именуют «полуглиссером».

Поселились мы в Нижней Тойме у самой Двины, в бревенчатом домике лесосплавного участка. Утром предстоит поход с местной учительницей Раисой Сергеевной Сенчуковой по окрестным деревням. Учителя в таком деле — лучшие помощники.

Прежде всего уточняю местную географию. Нижняя Тойма — это тоже не село, а, как и Мокрая Едома и Дракованова Кулига, группа деревень, объединенных общим названием. Если стоять у речки Нижней Тоймы спиной к Северной Двине — справа прибрежный поселок Стрелка, прямо на мысу, образуемом двумя реками. Еще правее кирпичное здание школы-интерната и столовой сельпо, а за ним село Красная Гора. Поглубже Холм (Бурцевская), Загорье. На взгорье — Наволоцкая, а за ней центр сельского Совета — Вижница. Слева, на другом мысу Нижней Тоймы, — Городище. Видно, там в древние времена стояло укрепление, с

двух сторон защищенное водой. Поглубже — Нижний Ручей, названный так по протоке Северной Двины, затем тесно слившиеся Абакумовская, Первая и Вторая Жерлыгинские. Одиннадцать этих деревень и составляют Нижнюю Тойму.

Учительница Сенчукова размышляет вслух:

— К кому же из стариков отправимся прежде всего? В наши края ходить не стóит — я здесь каждую избу знаю, ничего интересного нет. А вот Абакумовская и Жерлыгинские — другое дело.

Мы шагаем лугами к мосту через Поповский ручей. Вот и Абакумовская. Избы высокие и просторные, с коньком на охлупне, с узорными балкончиками, окруженными росписью, — настоящие старинные расписные терема. Такие же видел я и в районном центре — Верхней Тойме.

На крыльце с резными деревянными колоннами сидит седой старик.

— Александр Васильевич Меньщиков, — говорит о нем Сенчукова. — Поди-ко уже за восемьдесят ему.

— Восемьдесят шесть, — уточняет Меньщиков и жалуется: — Что-то спина ныть стала.

Хорошо, если хвороба впервые посетила его только в такие годы!

Он откладывает топор, которым тесал чурку для какой-то домашней надобности, медленно поднимается и идет в избу за прялками, о которых заговорила учительница. Выносит две — запыленные от многолетнего бездействия и хранения на сеновале, великой красоты вещи, очень похожие на те, что я видел в музее.

Кряхтит дед, держась за поясницу:

— Вот когда работа-то сказываться стала. Сколько лет я прясницы ладил! А их непросто делать. Ходишь-ходишь по лесу-то, надо ить найти дереву удоб-

ную. Лопасть прясницы — из ствола, стало быть, ствол должен быть ровный, а копыло, или, по-нашему, по-деревенскому, подгузник, это на чем молодка сидит, когда прядет, из того же дерева да только из корня. С весны в лес идешь, еще земля не просохла, всё ищешь складные лесины для мастерства, а потом обрубешь ветки и на своем горбу в деревню тащишь.

Рассказывает Александр Васильевич о мастерах:

— Красил брат мой сводный, Егор Игнатьевич, по фамилии тоже Меньщиков. Он хороший живописный мастер, раньше все иконы писал. А прясницы ему не хитро писать — иконы хитрее. Внизу лошадь умещал, а выше цветочки.

Я помнил, что Ольга Владимировна Круглова называла фамилию Третьяковых. Спросил о них. Оказалось, что жив Иван Андреевич Третьяков, колхозный бригадир, и изба его — в деревне Первой Жерлыгинской.

Путь недалекий. Здесь расстояние от деревни до деревни исчисляется не в километрах, а в метрах.

Вот и Первая Жерлыгинская.

Прославленным мастером являлся дед Ивана — Иван Кириллович, родившийся в 1837 году и умерший в 1922-м; известен и брат деда — Григорий Кириллович.

Отец Ивана, Андрей Иванович, к росписи оказался неспособен — он все больше работал в лесу. А вот дядя Ивана — Василий Иванович Третьяков — заслуженно слыл мастером удивительным: по установившемуся здесь обычаю он помещал внизу, на широкой лопасти прялочного донца пару коней, запряженных в повозку с ямщиком на облучке. Самый верх лопасти обязательно отводился под два окна, на которых стояли цветы. Пониже, в квадрате, углы округло срезались, а

на оставшейся затейливо очерченной площади расцвевал сказочный сад из узорных деревьев и красной кудрявой листвы.

Василий Иванович жил в семье брата, не женился. Главным в жизни для него являлось искусство. Я видел не только изумительно расписанные им прялки, но и своеобразно вырезанные узорные деревянные кресты.

Умер Василий Иванович в 1932 году.

В той же «третьяковской» манере расписывала и тетка Ивана — Прасковья Ивановна. Худенькая, больная с детства, она ходить не могла, но, насмотревшись на работу отца и брата Василия, легко освоила роспись.

Мастер Федор Кузнецов, по прозвищу Горошина, из села Пучуга, делал затейливый медальон в центре прялочного донца. В красную кудрявую листву он любил вплетать красных птиц с зелеными крыльями. В последние годы прялка вышла из деревенского обихода,



и эти красивые вещи, за которыми раньше приходили даже пешком издалека, перестали пользоваться спросом. Тогда Горошина придумал себе новое занятие. Он расписывал букетами цветов печки в избах, оклеивал белой бумагой стены и на них тоже рисовал цветы. Работы у него всегда хватало: здесь любили и ценили красоту.

Когда я уезжал на пароходе из Нижней Тоймы в Архангельск, увидел, как в Борке села старушка. Подумал: если она местная, то, наверное, знает ту мастерицу, которая, по рассказам старожилов, отлично расписывала прялки и жива еще теперь.

— Пелагею Матвеевну Амосову? — переспросила старушка и сразу заулыбалась. — Как не знать! В деревне Фалики живет. Ей сейчас 95. Всю жизнь только и делала, что расписывала прялки. У них это семейное. Их прозвище — Польниковы. Братья у нее в соседней деревне Скобели — Михаил, Кузьма да Дмитрий. Ну Михайлу-то все Микишой звали. Вот хоть те мастера и мужики, а ее работу выше ценили. Так на базаре и требовали: «Палагину прясницу давай!» А все потому, что узор у нее мелкий да аккуратный. Теперь прясницы не нужны, так она их не расписывает, а носки да рукавички вяжет. Красивые! У меня ее же прясница лежит. Помню, еще молодая увидела у подружки и к отцу со слезами: такую же хочу.

У Пелагеи Матвеевны Амосовой и верно свой стиль росписи прялок.

Как и все нижнетоемские и борокские мастера, она любит прялки нарядные, рисунок трехъярусный, с золотом по белому фону и красными травными узорами, похожими на завитки сольвычегодской финифти. Это — общее. А больше идет свое, «амосовское», или, как на Северной Двине говорят, «палагина работа».



В верхней части у нее на прялке два золотых окна с красными переплетами и обязательно с красными цветами, каких соседи не пишут: четыре овала, один на другом, а на стебельке три пары листьев — желтая, зеленая и красная. Между окнами многоцветный узорный куст, а на нем сказочная красная птица с зелеными крыльями.

Среднюю часть с полукружием, напоминающим церковные врата, заполняет дерево не дерево, цветок не цветок — нечто вроде символического «древа жизни», сохранившегося на разных северных росписях и бышивках с языческих времен. По бокам — две пышные птицы.

Нижняя часть — самая нарядная. Здесь — свадебный выезд, вернее, приезд жениха, — излюбленная тема для девушек, коим дарят прялки. Коня либо красные, либо зеленые, а чаще всего золотые, по форме — крепкие, тяжелые, с резво выброшенной вперед ногой. Красный цвет — излюбленный: красная сбруя, крас-



ный средневековый кафтан на кучере, красное узорчье трав вокруг. С преобладанием красного расписаны и верхние главки, и рамки, и оборотная сторона прялки.

...Мимо проплывал обрывистый берег Северной Двины, избы далекой деревеньки казались точно такими же, как и многие другие на Севере. А где-то, в саду или под яблонькой, или на широкой скамье у окна, сидела без малого столетняя старушка, чье искусство так ценили когда-то пряжи, любившие красоту. Безымянные прялки стояли в музеях, и на табличках не написано ни фамилии Амосовой, ни ее прозвища — Польникова, а только: «Северная Двина» и, может быть, еще: «Борók».

* * *

Несколько северодвинских прялок я привез в Москву, повесил у себя возле книг и не перестаю любоваться удивительной росписью.

Осенью 1960 года в Москву из Соединенных Штатов Америки приехал известный американский художник Рокуэлл Кент. За три года до этого выставку его картин и гравюр посмотрело у нас свыше полумиллиона зрителей.

В газетах писали, что американский музей, где находились основные произведения Кента, не захотел их выставлять только из-за того, что художник хорошо относился к Советскому Союзу и являлся президентом общества «США—СССР».

Кент боялся подвергнуть опасности картины и рисунки, хранившиеся в деревянном помещении вблизи от соснового леса в Адирондакских горах. Он решил подарить Советскому Союзу собрание своих лучших работ.

Мне довелось присутствовать в залах Академии художеств СССР на открытии выставки подаренных нам картин Кента. Художник стоял перед микрофоном, нервно перебирая в руках бумажку с текстом выступления. Он так волновался, что попробовал шуткой внести спокойствие в свою смятенную душу. Взял каталог и, показав портрет с изображением не семидесятивосьмилетнего, а пятидесятилетнего Кента, улыбаясь, сказал:

— Не обвиняйте меня в отсутствии реализма, если, взглянув на фотографию, а потом на меня, вы увидите, что я несколько возмужал...

Дружелюбный смех и улыбки советских людей, принимавших состояние художника, ободрили Кента. Он прочитал часть заготовленной речи, потом отвлекся и заговорил с собравшимися, как с добрыми друзьями. Но волнение вновь охватило его, когда он напомнил о роли Советского Союза в минувшей войне и о битве на Волге.

Осенью 1960 года в Москву из Соединенных Штатов Америки приехал известный американский художник Рокуэлл Кент. За три года до этого выставку его картин и гравюр посмотрело у нас свыше полумиллиона зрителей.

В газетах писали, что американский музей, где находились основные произведения Кента, не захотел их выставлять только из-за того, что художник хорошо относился к Советскому Союзу и являлся президентом общества «США—СССР».

Кент боялся подвергать опасности картины и рисунки, хранившиеся в деревянном помещении вблизи от соснового леса в Адирондакских горах. Он решил подарить Советскому Союзу собрание своих лучших работ.

Мне довелось присутствовать в залах Академии художеств СССР на открытии выставки подаренных нам картин Кента. Художник стоял перед микрофоном, нервно перебирая в руках бумажку с текстом выступления. Он так волновался, что попробовал шуткой внести спокойствие в свою смятенную душу. Взял каталог и, показав портрет с изображением не семидесятивосьмилетнего, а пятидесятилетнего Кента, улыбаясь, сказал:

— Не обвиняйте меня в отсутствии реализма, если, взглянув на фотографию, а потом на меня, вы увидите, что я несколько возмужал...

Дружелюбный смех и улыбки советских людей, принимавших состояние художника, ободрили Кента. Он прочитал часть заготовленной речи, потом отвлекся и заговорил с собравшимися, как с добрыми друзьями. Но волнение вновь охватило его, когда он напомнил о роли Советского Союза в минувшей войне и о битве на Волге.

Я знал, как Рокуэлл Кент любил народное искусство, и, готовясь к встрече с ним через несколько дней после открытия его выставки, приготовил подарок: одну из лучших прялок, расписанную нижнетоемским мастером Василием Третьяковым. С одной стороны кони мчали невесту в повозке, а с другой — красный конь и, в традициях старинной новгородской росписи, всадник в зеленом камзоле, а вокруг тонкий и певучий орнаментальный узор из красных трав.

Кент взглянул на прялку, и глаза его вспыхнули. Лицо подвижное, искреннее, всегда выражающее его чувства, говорило о восхищении. Он поблагодарил меня и, повинуясь движению сердца, обнял.

Вскоре Кент уехал в Америку. С дороги (он плыл на польском трансатлантическом теплоходе «Стефан Баторий») я получил письмо. Кент писал:

«Самым драгоценным подарком, который я везу домой после посещения Вашей страны, является красивая часть прялки, которую Вы передали мне в тот незабываемый вечер открытия клуба писателей. Это вещь бесценной красоты, которую мы всегда будем беречь, как сокровище. Может, когда-нибудь Вы напишете нам и расскажете о происхождении этой вещи и поточнее о том, какую роль она играла в процессе прядения...»

Итак, художник высоко оценил искусство русских народных мастеров с берегов Северной Двины. Мне следовало ответить ему. Я мог бы, конечно, сообщить, от кого получил расписную прялку, заметив при этом, что теперь почти никто из женщин, даже в самых отдаленных местах, не прядет таким способом. Разве только какая-нибудь старушка решит смастерить коврик под ноги и попрядет немного для этой цели: у старых людей свои причуды.

Но ведь американского художника интересует и

происхождение узоров на верхнетоемских прялках. В других местах нашей страны — даже если взять только север — совсем иной характер росписи. Почему так торжественно выглядят на этих прялках простые деревенские выезды? Что означают сказочные сады и пышные фантастические цветы, похожие на деревья? Почему узоры в верхней части прялки как бы вписаны в круг или ромб?

Русские народные мастера издревле любили применять символы, сохранившиеся еще с языческих времен. А в то время солнце, дающее, по представлениям первобытного земледельца, все блага жизни, изображалось в виде круга, ромба, а затем и коня. Различные символические фигуры появлялись и на причелинах¹, карнизах, наличниках домов, на воротах и столбах крестьянского владения. Изба увенчивалась символическим изображением коня. Христианство пыталось приспособить эти символы к своему «хозяйству»; есть даже толкование, что лев, например, это — символ Христа. Однако в крестьянском искусстве медленно, но последовательно исчезал символический смысл изображения и укреплялся его бытовой и декоративный характер. Никому и в голову не приходило связывать изображение льва с высшей силой, охраняющей дом от напастей, а тем более с Христом. Узор остался как обычай, как удовлетворение потребности к традиционному украшению дома или бытовой вещи.

Вот так стало обычаем в Красноборском районе изображать цветы и травы определенного характера, в Городце — львов и «берегинь» — русалок. Конечно, существовали общие или сходные сюжеты, но всё же в

¹ Причелина — резная доска на верху ворот, перекладина, как объясняет Даль, «противу чела печи» или «резная пробойна у лавки».

местах распространения резьбы или росписи по дереву стали преобладать излюбленные мотивы. С наибольшей яркостью тема катания на конях проявилась в росписи прялок у мастеров Нижней Тоймы и расположенных в близком соседстве с ней Борка, Пучуги и других деревень.

Сами прялки помогли мне прояснить некоторые вопросы.

Одна из наиболее интересных прялок, та, где изображалось не обычное катание на санях, а нарисованы люди, едущие на телеге (так сказать, прялка «летняя»), предназначалась мною для подарка известному знатоку русской резьбы и росписи по дереву, историку искусств, доценту Московского государственного университета Виктору Михайловичу Василенко.

Я читал его книги о хохломской росписи по дереву, о миниатюрной живописи на папье-маше, знал о его творческой дружбе с А. В. Бакушинским, блестящим знатоком и теоретиком искусства русских лаков. С огромным интересом я читал и его последнюю книгу, выпущенную Московским университетом, — «Русская резьба и роспись по дереву». Там говорилось о прялках, с учетом открытий О. В. Кругловой намечалась определенная система в росписи прялок и других бытовых предметов, ранее именовавшаяся «северодвинской».

Когда Виктор Михайлович пришел ко мне, речь прежде всего пошла о пермогорском стиле росписи: ведь у меня красовались особенно интересные образцы этого вида — прялки с чаепитием и птицей Сирий и набируха со сценами в лесу.

Виктор Михайлович показал интересные фотографии.

— Посмотрите, — говорил он, — это я снял, когда ездил недавно в Киев со студентами университета. Скромный медный оклад для иконы божьей матери. Работа северная, вероятнее всего, сольвычегодская. Датируем точно — вторая половина XVII века. Оклад украшен дивной красоты сканой эмалью голубого, белого, зеленого, красного, желтого цветов. Может быть вы помните: я писал о влиянии сканой эмали XVI—XVII веков на северо-двинскую роспись?



Конечно, я помнил это. Замечание Василенко явилось и новым и очень точным. Виктор Михайлович утверждал, что мастера «словно подражают сканым эмалям XVI и XVII веков (сольвычегодской и новгородской)». Рисунок из тонких копьевидных листьев, упругих завитков и трилистников на прялках и посуде, воспроизводящий узор сканых эмалей, сохранил и их декоративный принцип — сочетание темных и светлых цветов, только в крестьянской росписи синий цвет заменен красным.

Открытие, видимо, очень волновало и самого Виктора Михайловича:

— Смотрите, смотрите! — обращал он внимание на детали, запечатленные фотографией. — Характер рисунка пышной растительной ветви, рисунок каждого лепестка и цветочного завитка ведь очень похож на роспись прялок. В Историческом музее хранится оклад

к иконе Никиты Строганова. Это — XVI век. Роспись прялок похожа на те узоры. А сканные узоры на старых серебряных вещах Великого Устюга?

Действительно, сходство бросалось в глаза.

Второй вид росписи Василенко назвал «шенкурским». Но это не точно. Виктор Михайлович исходил из того, что на одной такой прялке стояло название этого города, когда-то являвшегося центром уезда, куда входили и Нижняя Тойма и Борок. Правильнее называть такие прялки тоемскими и борокскими.

Происхождение этой росписи явно иконописное. Тут можно увидеть самые различные сцены деревенской жизни, но чаще всего катание на конях.

Раньше, бывало, иконописцы в центре большой иконы помещали изображение святого, а вокруг него — сцены жизни и чудес (клейма). Вот такие же сцены мы видим и на прялках. Вся лопасть «иконописной» прялки делилась на квадраты и прямоугольники, подобно иконостасу в церкви, где иконы располагались в несколько рядов, а в центре — полукружие верха царских врат.

На одной из прялок можно увидеть наивную надпись, сделанную мастером:

«Написано по преснице кустики, а повыше того конь, а повыше кустик, а повыше мужик на лошади едет, а повыше баба прядет — сидит, а повыше петух идет, за собой куташку ведет, а повыше того седят — чай кушают, а повыше того кустики».

Я рассказал Виктору Михайловичу о встрече в Нижней Тойме с восьмидесятилетним Александром Васильевичем Меньщиковым, братом иконописца Егора Игнатьевича. А ведь это не единственный иконописец, взявшийся за роспись прялок.

Меньщиковы и Третьяковы — наиболее прославлен-

ные мастера росписи — жили и работали в Нижней Тойме. Их прялки отличались большими размерами лопасти, наверху вместо обычных пяти «попов» или «теремков», на которые насаживалась кудель, делалось шесть. Внизу лопасти, возле узорной — чаще всего резной, а иногда и точеной — ножки, помещалось по одному теремку с каждой стороны, что придавало прялке особую нарядность. Но главное украшение — это, конечно, роспись. На белом фоне создавался рисунок черной, красной, зеленой, а иногда еще и синей и розовой красками. В нижней части лицевой стороны чаще всего помещалась сцена катания. В возок впряжены два коня — один золотой, другой красный или серебряный и зеленый, а на козлах крытого старинного возка, украшенного узорами, сидит парень. Туго натянуты вожжи, кучер еле сдерживает коней, которые вскинули гордые головы и бьют землю копытами.

Вот на таких-то прялках и ставилась обычно надпись: «Везет ямщик девицу в повоске на златогривых лошадях».

Над катанием помещался второй «этаж»: райский сад с «древом жизни» — сказочным полудеревом-получетком; завитки красных лиственных узоров, пышные разноцветные павы, голуби, гуси, перепелки — все не обычные, а тоже сказочные, принаряженные, украшенные. По бокам шли узоры из разноцветных уголков, полукружий, грановитых квадратов, точек, иногда над всем господствовал круг или ромб — сохранившиеся уже без прежнего значения древнеславянские символы солнца, Ярила, Сварога. Наконец, наверху, в третьем «этаже» росписи, по бокам почти обязательно рисовали два окна с цветами.

Постепенно складывалась и закреплялась вся эта многоэтажная заполненная подробностями компози-

ция. Но если, так сказать, поэтическим взором попытаться прочесть, что тут написано, на этом очень практическом предмете из девичьего обихода — на прялке, которую дарил жених невесте и возле которой женщина проводила долгие часы, занимаясь прядением, — то можно понять, как реальность сливается с мечтой.

Вот везет добрый молодец красну девицу в свадебной повозке, и не только гривы у коней золотые, а и сами кони из литого серебра, червонного золота или красные и зеленые, какие встретишь только в сказке. И все-то вокруг сказочное, драгоценное, радостное. Пусть хоть бедным-бедна крестьянская семья, откуда девушку выдают замуж, и нища семья жениха, куда ее вводят в дом, — все равно на свадьбе их величают князем и княгиней. Свадебный крестьянский выезд народная фантазия превратила в княжеский, богатый. А проезжают молодые тоже не по тощим ржаным и овсяным полям, а по сказочным цветникам, откуда доносится пение птиц счастья Сиринов, где красуются павы возле золотых окон с алыми цветами. Золотом, драгоценным золотом, которого крестьяне-бедняки в жизни никогда не видели, изукрашена вся прялка.

А на обороте, на той стороне, что обращена не к гостям, а к самой прялке, — лишь один мотив: на красном коне — красавец жених. Правда, наряд на нем старинный, кафтан еще петровских времен, а подобного коня в жизни не найдешь — он красный, вроде того, что на иконе мчит громовержец Илью Пророка по пухлым сизым облакам. Это всё понятно: и здесь продолжается сказочная мечта.

...Когда я с учительницей Раисой Сергеевной Сенчуковой бродил по деревням Нижней Тоймы, нам встречалось много прялок с конями. Иные на белом, а

иные и на золотом фоне. Несколько прялок такого же типа приведено в книге Василенко. Но ему, автору книги, я хотел подарить прялку особенную, «летнюю».

Сидит Виктор Михайлович у меня возле этой нижнетоемской красавицы, прислоненной к книжным шкафам, любит ее и размышляет вслух:

— Очаровательная прялка! Это — крестьянский стиль, но необыкновенно тонкий и изящный, — результат длительного художественного развития. Как сочетается наивный реализм в изображении телеги и лошади! Чувствуется рука иконописца. Перед телеги образует как бы завиток, повторяющийся, подобно эху, в завитках орнамента. Плоский силуэт лошади очень похож на коня Георгия Победоносца. А орнамент невольно заставляет вспоминать рукописные орнаменты из Миней Федора Юрьева или родственный узор в орнаменте арчака (остова седла), хранящегося в Оружейной палате.

Василенко раскрыл один из томов «Истории русского искусства».

— Взгляните: элементы орнамента из рамки в центральной части разве не родные братья тех, что в верхней части «окна» прялки? А для крестьянина, расписывавшего прялку, это окно сказочной светлицы с чудесным цветком.

Он отложил книгу, взял в руки прялку и продолжал сравнивать:

— А вписанные по сторонам цветка полукружья с зубчиками — словно отзвук тех геометрических узоров, которые жили в резьбе на бытовой утвари. Прялка эта — того типа, что, несомненно, связан с древними печорскими рукописями. Особенно об этом говорит орнамент «древа жизни» с прекрасными мотивами завитков. В Оружейной палате хранится саккос митро-

полита Макария. Обратите внимание на орнамент золотного бархата. Разве не похож? А ведь там XVI век. Потом такой орнамент распространился и на более дешевые ткани, перешел в крестьянскую набойку, попал на эмалевые и сканные басменные оклады XVII века и уже оттуда проник в искусство крестьянских ремесленников-живописцев. В основе же — это орнаменты рукописных северных книг XVII века. Прялка воспринималась не как оформление страницы, а как фасад терема в граде: в окнах сидят люди (кстати сказать, похожие на людей в сольвычегодских эмалях); крупные цветы напоминают розы, но только напоминают, потому что тут внесено свое собственное истолкование орнаментов, возникших в XVIII веке. Птицы «живут» среди сада. Ко всей этой красоте и направляется молодец, везущий девицу. На иконах изображалось божественное «вознесение», а здесь — вознесение жизни, толкование жизни не как прозы, а как поэзии. Это — повседневность, крестьянский быт, но опозитизированный, свидетельствующий о неумирающем оптимизме русского народа. Ведь так же и в литературном фольклоре — в сказках, былинах, где герои зовутся царями, королевичами...

Я написал письмо Рокуэллу Кенту. Рассказал о Нижней Тойме, где сделана та самая прялка, которая находилась теперь у него, в Сабль Форк, возле Нью-Йорка.

Я упомянул о том, что Кенту могло показаться интересным и как художнику и как неутомимому путешественнику, что побывал я на родине других произведений русского народного искусства: плыл по северным рекам Печоре, Мезени и колесил от деревни к деревне в дремучих мещерских и керженских лесах. И всюду находил интересное.

Письмо мое, как я узнал позже, «заблудилось» где-то между Нью-Йорком и Сабль Форк, и художник так и не получил его, но я все подробно рассказал Рокуэллу Кенту, когда снова увиделся с ним в 1964 году.

Тогда я в дополнение к рассказу и подарил фарфоровую статуэтку, выполненную на заводе в Вербилках и изображающую старую пряжу. Роспись по моей просьбе сделали специально для Кента: женщина в северном русском вышитом наряде, а ее прялка — почти копия той, которая теперь уже принадлежала семейству Кентов — Рокуэллу и Салли.

У ВЕЛИКОГО ПОВОРОТА



ПОЛНОЧЬ мы решили укладываться спать.

Лучи розового заката золотили острые верхушки елей на дальнем берегу Цильмы. Я знал: темнее не станет. За время короткого междузорья вокруг разливалась серебряная белесость. День лишь изменил оттенок: чуть потускнел и стал матовым. В эту летнюю пору не дожدهшься настоящей ночи еще долго, месяца два, не меньше.

Мы расположились кто где в просторной, по северному обычаю, двухэтажной избе председателя колхоза «Сила» Григория Ивановича Рочева. Семья у него большая: семь дочерей — и все помогают по хозяйству.

Я сорвал листок календаря: «20 июня». Возле циф-

ры — картинка: высокогорное озеро Рица на Кавказе в окружении вечнозеленого леса. На обороте листа несколько слов, подходящих ко времени:

«Леса, сады и парки хорошо задерживают солнечные лучи, а значит, защищают горожан от изнуряющей летней жары».

Что верно, то верно: 20 июня жарко приходится горожанам на юге.

Наутро мы проснулись в избе Рочевых и увидели, что за окнами... валит снег.

Что ж, мы не на Рице. Мы на берегу Цильмы, притока суровой Печоры, совсем недалеко от Северного Полярного круга.

Какой это необычный, величественно красивый край, хранящий несметные богатства в недрах, лесах, реках, и какой труднодоступный! Давно стремились сюда люди, но природа заставляла переносить неслыханные лишения, отступать, выжидать, снова манила и снова наказывала, а порой и губила.

Сын председателя Усть-Цилемского сельсовета, учитель истории местной вечерней школы Яков Николаевич Носов собрал интересные сведения о зарождении родного села и печатал свои исторические очерки в местной газете.

Первые сообщения о Печоре обнаружены в «Повести временных лет». Новгородец Гюрята Рогович поведал потомкам, как послал отрока «в Печору» и как увидел тот «горы зайдуте в луку моря, им же высота акы до небес... Есть же путь до гор тех непроходим пропастьми, снегом и лесом».

Но ни пропасти, ни леса, ни снег не остановили смелых людей. В начале XVI века берега Печоры и Цильмы представляли «дичь, лес и мхи, болота, сокольи и кречатьи стойбища», но здесь промышляли охотники и

рыбаки. В середине XVI века новгородец Ивашка Дмитриев, по прозвищу Ластка, подал Ивану Грозному челобитную, прося отдать ему на оброк нижнюю Печору с притоками Цильмой, Пижмой и Ижмой¹. Царь такое разрешение дал, учитывая, что «по тем речкам лес — и дичь и пашен и покосов и рыбных ловищ исстари нет ничьих и от людей далече», повелев «на том месте людей зазывать, жити и копити на государя слободу». Как раз напротив устья Цильмы и Пижмы поставил Ивашка на берегу Печоры свою избу, а вслед за ним потянулись и другие новгородцы. Так в 1545 году образовалась деревня Усть-Цильма.

Через тридцать лет другая грамота содержит рассказ: «Да в той же Цылемской слободке хлебные пашенки позади дворов... и они же пашенки в иной год пашут, а в иной и не пашут, потому что морозом убивает... А се угодья Усть-Цилемские волости жильцов, по реке Печоре рыбные ловли и тони и речки... А ловят на всех на тех тонях красную рыбу семгу, а в речках ловят белую да бобры бьют».

Жизнь не баловала устьцилемцев. Слабые духом здесь не выдерживали, и в древних рукописях не раз отмечались такие случаи: «жилецкие люди разбрелись кормиться в русские и сибирские города».

Но во второй половине XVIII века Печора неожиданно стала популярна. Сюда двинулись тысячи людей — раскольники, староверы, спасавшиеся в отдаленных северных местах от преследования религиозных и гражданских властей. Усть-Цильма превратилась в центр печорского старообрядчества. Население ее увеличилось во много раз. Когда же и здесь беглецы попа-

¹ А. А. Ж и л и н с к и й. Крайний Север Европейской России. Пг., 1919, стр. 188.

ли под наблюдение начальства, передвинулись они в еще большую глушь, в верховья лесной и порожистой реки Пижмы, притока Печоры.

О богатстве Печоры знали не только Ивашка Дмитриев, но и те, кто жил здесь позже его. Пробовали добывать нефть, каменный уголь, зимой вывозили, хотя и с трудом, пушнину и дичь. А потом, уже в XIX веке, появились проекты каналов, соединяющих Печору с Вычегдой, проекты строительства железных дорог, устройства портов в различных бухтах, не замерзающих из-за теплого течения Гольфстрим. Но все проекты в царские времена по разным причинам не осуществлялись. Против разведок нефти хитро выступали могущественные иностранные нефтяные компании в Баку, боявшиеся соперников. На проведение канала или железной дороги требовались деньги, а так как скорых прибылей не предвиделось, ни царское правительство, ни капиталисты не открывали чековых книжек.

А путешественники, попадавшие в печорские места, продолжали свидетельствовать о «крае нетронутого изобилия», о «забытой реке, таящей клады». Грузы в центр России по-прежнему шли кружным речным и морским путями. Про Печору часто говорили, что изучена эта область меньше, чем Луна.

Неутомимый исследователь Печоры М. К. Сидоров разными способами пытался привлечь внимание к богатому и забытому краю. Он подавал прошения на разработку горючих ископаемых, напоминал о Гольфстриме и возможности постройки незамерзающего порта на севере и, пока оставались средства, даже устраивал в столице необычные обеды, где все кушанья и напитки являлись дарами щедрой Печоры. Он пошел на крайнюю меру — подал «всеподданнейшее» прошение наследнику престола, соблазняя богатствами нетронутого

края. Кончилось это грустным анекдотом. И раньше над Сидоровым откровенно издевались, и если соглашались дать для поисков нефти участки, то отводили заведомо негодные. А тут воспитатель наследника с высокомерием невежды ответил:

«Так как на Севере постоянные льды, хлебопашество невозможно и никакие другие промыслы немислимы, то, по моему мнению и моих приятелей, необходимо народ удалить с Севера во внутренние страны государства, а вы хлопчете наоборот и объясняете о каком-то Гольфштроте, которого на севере быть не может. Такие идеи могут проводить только помешанные».

Сидорова довели до разорения, а его прошения и идеи похоронили в канцеляриях и архивах.

И не удивительно, что в справочной книге «Урал», изданной в 1917 году, перед самой революцией, отмечалось: чтобы попасть в глубь Печорского края, «нужно предпринимать такую же экспедицию, как в центр Африки во времена Ливингстона»¹.

Все это — история. А что теперь на Печоре, Пижме и Усть-Цильме?

Прошла, прошумела здесь гражданская война, всколыхнула край.

Сейчас, если судить, так сказать, «по общим показателям», люди здесь такие же, как и всюду в нашей стране: дети учатся в школах, поступают в институты; крестьяне объединены в колхозы; существуют фабрики и заводы; идет валка и сплав леса, ловля семги; ходят пароходы, проведена железная дорога, летают самолеты и т. д.

Но старый русский северный характер чувствуется

¹ А. Поликашин. Советская Печора, Архангельск, Сев.-крайгиз, 1934, стр. 6.

и в быту и во многом другом. Печорский край даже по северным меркам — место своеобычное, удивительное. Это подлинный заповедник красоты — красивой природы, красивых традиционных деревянных построек, красивой старинной женской одежды, красивых русских песен и красивой росписи многих домашних предметов.

Северная красота здесь тесно переплетается с новыми советскими чертами и, скажу по совести, не мешает этому новому укрепляться, ибо речь идет не о консерватизме содержания, а о прелести оформления — поэтического, музыкального, живописного.

В Усть-Цильму пароход «Жданов» доставил меня в серебристо-светлую полночь. Я знал, что село длинное — семь километров вдоль Печоры, — об этом писал путешественник прошлого века, — но теперь широкие двухэтажные бревенчатые дома лезли и на взгорье, откуда доносился рокот самолетных моторов: там располагился аэродром. Путешественник писал, что на этих двухэтажных домах «приделаны балконы, у окон ставни расписанные, размалеванные по всей прихоти доморощенных вкуса и изображения...». Но мне понравились не только эти дома, но и высокие дощатые тротуары, и лиственницы возле домов, а когда настало утро и на улицах появились пешеходы, я с уверенностью мог сказать, что больше всего меня заинтересовали и поразили местные женщины. Казалось, они вышли из XVIII века, а я сказочной, волшебной силой перенесен в нашу историю на два века назад.

По старому календарю сегодня троица. Но разве что богомольные старушки и старики-начетчики отмечали этот день молитвами... Все село празднично кипело: уже несколько дней по радио передавали, что состоится районный фестиваль песни и танца. В Усть-Цильму

съехались из колхозов Замежной, Загрявочной, Скитской, Трусова, из совхоза «Новый бор», опытной станции, Замшевого завода, пристани и аэродрома лучшие певуны и танцоры.

Это ли не повод не только молодым красавицам, но и солидным женщинам почтенных лет показать свои знаменитые устьцилемские наряды? Еще в Москве мне рассказывали, как на совещание председателей колхозов в декабре 1961 года приехали в столицу устьцилемцы. В первый же свободный час они отправились в магазин Военторга и купили такое количество золотых галунов и позументов, что галантерейный отдел сразу выполнил годовой план. А потом те же устьцилемские заботливые мужья покупали в другом магазине парчу.

Своим необычным нарядом устьцилемки гордятся. В нем всё строго традиционно, а как необычный и красочный сколок прошлого, наряд, конечно, очень интересен.

На дощатой сцене, сколоченной нарочно для районного фестиваля, выступал один хор за другим. Певицы сменяли чтецов и танцоров.

Уже рано утром я видел старушек «в старомодном шушуне» — только шушун этот оказался не ветхим, а нарядным, длиннополым, сшитым из отличного черного бархата или вельвета, с рукавами, пышными у плеч и узкими у запястья. И, может быть, потому, что верхняя одежда эта шилась недавно и старательно, да и старушечья стать казалась величавой в шушуне (поздешнему — верхней кофте), не почувствовал я и старомодности.

А на городской площади у клуба женщины помоложе — певуны и плясуньи — нарядились в яркие одежды. Вот стоит одна — я узнал, что зовут ее Федосья Ивановна Чупрова и что приехала она с реки



Пижмы, из деревни Загривочной. Чупрова в сборчатой зеленой юбке и красной кофте с горящими золотом парчовыми наплечниками — «ластовицами». Юбка подоткнута выше колен, и стан стянут широким золототканым поясом, вроде тех, что носят наши офицеры на первом майском военном параде. На голове у Федосьи Ивановны поверх кокошника (о нем мы и вспоминаем-то только, читая «Князя Серебряного» или «Песню о купце Калашникове») несколько платков, а самый верхний — старинный чердынский — атласный с розами. Рукава на кофте и парчовый ворот — «борок» застегнуты золотыми «запонка-

ми» (пуговицы со старинной сканью — напаянными узорами из тончайшей витой серебряной позолоченной проволоки). На шее у Федосьи Ивановны — сверкающие под лучами солнца золотые цепи и — пусть это у вас не вызовет улыбки — бусы, похожие на те, что украшают новогоднюю елку. Здесь они к месту, ибо, если посмотреть на наряженную столь празднично устюжскую лемку, все у нее соответствует общему картинному, радостному историческому костюму.

А рядом с Федосьей Ивановной другие женщины, которые могут поспорить с ней и в богатстве наряда, и во вкусе, и в пышности украшения. Она — мастер-сыродел из Загривочной, жена председателя передового колхоза «Заря». Соседки ее — бригадиры, знатные до-

ярки, счетоводы, библиотекари. Старинные традиционные обычаи уравнивали их в характере одежды, и соревнование идет чисто женское: кто помастеровитей рукодельница и швея, у кого муж позаботливей и порасторопней, а у кого есть родственники в Москве, спроворящие пышные галуны и модную парчу.

На женщинах кофты оранжевые, как июньский закат, фиолетовые, фисташковые, желтые. Юбки у всех обязательно украшены кружевами, только у молодых они цветные или даже золотые с канителью и кистями, а у тех, кому возраст не позволяет, — черные и без кистей. Кроме кружев полосами идут поперек юбок «бейки» — цветные ленты или парчовые полосы в несколько рядов. И платки неодинаковые, хотя самыми завидными почитаются чердынские, атласные, с крупными розами и другими цветами («Вот печаль какая — не выпускают их сейчас!»). Хоть пали зной на дворе, иная модница может накинуть на себя не один платок, а верхний даже шерстяной, кашемировый, с «турецкими огурцами». На иных вся кофта парчовая, а наплечные «ластовицы» алого бархата — это, видно, от бабки или прабабки осталось, а старухи, верно, оказались бережливыми, по недолгим летним солнечным дням выносили кофты сушить да проветривать, — вот и дохранили их полторы, а то и две сотни лет.

И шерстяные чулки здесь такие красивые, что, только увидев их, можно понять, каковы они: мастерица со вкусом подбирает цвета и так чередует разной ширины красные, желтые, белые, зеленые, черные полоски с шахматными поясками и фигурками, что залюбишься.

Я сел рядом с одной старушкой. Она пристроилась на бревне у забора и вязала узорный чулок.

— Еще вяжете... — удивился я.

— Как инó¹, — ответила она, кинув на меня зоркий взгляд.

— Себе?

— Какó?! Робята у меня, два сына, смирённы, хороши. Жалко, с ума нейдут, уехали, каждой в своем дому.

— Давно?

— Давно. Век-от, он быстро идет. Нынче вот внучка замуж вышла, ее мужа оввязываю.

— А что ж к сыновьям не едете?

— Зовут. А вот не еду. На пароход боюсь зайти, голова кругом идет. Чóле собиралась — не могу.

«Чóле» по-здешнему — «сколько» (вообще здесь столько древнерусских слов, что до сих пор сюда ездят за сбором их экспедиции Академии наук).

Старуха помолчала, пожевала губами и неожиданно сказала:

— Оба председатели. Помощь, конечно, шлют, не обижаюсь. А я живу здесь, нигде не бываю. Вот на песни вышла.

И снова спицы быстро замелькали в ее руках.

Можно суховато и привычно сказать: «Художественная самодеятельность». Но в здешних условиях — это подлинно народное искусство, вошедшее в плоть и кровь людей, в их жизнь, быт. И если поинтересоваться песнями и плясками в этом плане, то о той же Федосье Ивановне Чупровой надо рассказать, как она поет у себя в родной деревне Загривочной...

Мне повезло: я попал туда под воскресенье, а вечером предстояла «горка».

Поминали о «горке» и на устьцилемском фестивале, когда ведущий объявлял, что сейчас выступит хор

¹ Как иногда, когда как.

той или иной деревни. «Горка» — это сохранившиеся здесь до наших дней обрядовые, хороводные танцы с пением.

Деревня называется Загривочная. Левый берег Пижмы здесь выше и круче, а на изгибе реки вознесся он гривой. За гривой — деревня, внизу в свете летней сияющей ночи серебристо-белая река. И даль — неправдоподобно далекая, потому что ее вдруг видишь ночью.

Время подходило к одиннадцати. На противоположном берегу Пижмы (с высокой гривы видно отлично) из двух домов вышли на улицу несколько нарядно одетых женщин и направились к лодкам. Вот хлопнула калитка. На высоком берегу реки, у председательского дома, появилась, поправляя концы платка и поводя плечами, как бы удобней умещаясь в многослойной одежде, Федосья Ивановна Чупрова.

— Теперь начнут собираться! — сказал мне мой сосед. — Она у них заводила. Глаза, поди, проглядели бабы, когда она выскочит на улицу.

И верно: сразу, как по команде, из домов стали выходить женщины и девушки, неторопливо направлялись они через старое кладбище на гриву. Вот их уже двадцать, тридцать, сорок...

Федосье Ивановне эта руководящая роль досталась совсем не потому, что муж — председатель колхоза. Мать ее — Екатерина Маркеловна Поташева — издавна славилась как самая голосистая певунья, знавшая множество песен. Немало поработала она в колхозе дояркой и телятницей, сейчас уже на пенсии, но нет-нет да и вспомнит старое, запоем так, что невольно выделишь в хоре ее сильный и чистый голос. Пела она «Соловей ты, соловейка, соловейка маленькой, голосочек важненькой», «Куда краса моя девалась, кому я сча-

стве отдала», «Не за реченькой девушки гуляли», да и многое другое. Вторила ей всегда сестра Анна — женщина сейчас тоже в летах.

Из старого поколения неперменной участницей «горок» является и сестра председателя — доярка Марфа Викуловна Чупрова. А затем подобрался и коренной состав: доярки А. Чупрова, А. Чуркина, Е. Позднеева, да если продолжать называть, то надо перечислить чуть ли не всю деревню, а в ней три с половиной тысячи жителей. И поют не только женщины, но и мужчины — от парней, собирающихся в армию, до седобородых стариков. Вон у изгороди, вижу, пересмешничает с девчатами колхозный столяр Афанасий Иванович Поташев (про него мне еще утром сказали: «За последние годы триста рам для колхоза сладил»), а с председателем о чем-то серьезно беседует Максим Клеонович Носов — «мастер на все руки». Неторопливо подымается в гору Меркурий Прокопьевич Осташев — хоть и пенсионер, а «горки» не пропустит. От одной группы к другой ходит, что-то организуя, брат Федосьи Ивановны, Михаил Иванович Поташев, назначенный заведующим клубом. Вот он пошептался с женщинами, и раздалось протяжное северное пение:

Щой-то тоненьким-тонкѣм
По еловеньким гибкѣм
Проступилась, промахнулась
Красна девица-душа!..

Пели сильно, дружно, видно, спелись уже давным-давно, и те, кто не смогли влиться в общую голосистую реку, подтягивали робко, потихоньку; а вели любимую мелодию самые звонкоголосые. Солидно, басами, выполняли партию мужчины. Они начали ее, еще стоя

вдалеке, и так с песней неторопливо и шли к женской группе.

Потом затагнули особую, «горочную», когда полагается стать в два ряда лицом друг к другу.

Я — то ли по реченьке потеку,
Я — то ли ко бабушке забегу...

Женщины шли парами, собирались отдельно, выстраивались в ряд, а мужчины становились против них и пение продолжалось.

В одной «горочной» песне женщины смеялись над женихом, который и «спереди не красовитой», и «сзади не становитой» (неуклюжий), и «с боков не постовитой» (не статный). Другая — посвящена сельскохозяйственной культуре, которая когда-то здесь была очень популярной — льну. Женщины пели:

По сениям хожу, все ухаживаю.
Милого бужу, все разбуживаю...

Они зовут его идти в поле полоть лен, но он «на меже сидит все младу бранит». Появляются свекор и свекровь (за всех поет хор), и семья отправляется полоть лен.

О печали и радости сказывается в известной песне (которую поют и здесь) о том, как вдова приняла гостей и среди них вдруг «открылись» ей пропавшие муж и сын.

Любят в Загривочной песню-игру «Иванов монастырь». И в тот вечер, когда я там смотрел и слушал «горку», мужчины и женщины построились, как бы составив четыре стены избы, и взявшись за руки, то расходились, то сходились тесно. Запевали все вместе — дружно, многоголосо и долго тянули последние слоги каждой строки:

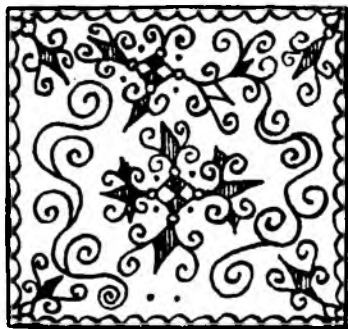
Иванов монастырь становился.
Молодой черенец привострился.
Захотелось чернечищу погуляти,
По заулкам, переулкам колотати...

В песне обстоятельно рассказывалось, как встретились чернечищу бабы, как стали его совестить да уговаривать:

Чернечище, колпачище, не ломайся...

А чернечище все равно ломается, обещает купить девушке дорогой подарок — «самолучшую штофную юбку». Девушка смеется над ним, но в конце концов чернечище грозит ременной плеткой, и верх остается за ним.

Завклубом М. И. Поташев рассказал, что песен в запасе у жителей Загривочной много: тут и обычные «горочные», и «игрушечные», и свадебные припевки, теперь уже почти забытые, когда на вечорках при свете керосиновых ламп «припевали» жениха с невестой. Никто и никогда из местных грамотеев эти песни не записывал, их помнят с детства.



«Становят горки» в июне, после того как отсеют рожь и ячмень и до сенокоса образуются незанятые дни. Не раз местные любители пения и танцев с успехом выступали на фестивалях и смотрах в районе.

Долго с гривы разносится окрест протяжное пение. Подходят девушки. Парни задорно кричат им:

— Опоздали, милые!

— Мы свое возьмем! — лихо отвечают девушки и привычно встают то ли в хороводный круг, то ли в игришный черед.

Ребята борются и кувыркаются возле «горки», а девчушки с завистью смотрят на старших: их пока что в эти игры не берут — не подросли босоногие.

А в полнеба сияет серебром северный негаснущий закат, чтобы через час вспыхнуть алой утренней зарей.

В Скитскую я за несколько минут добрался из Усть-Цильмы на вертолете: другого пути туда нет. Раньше плыли по Пижме, тянули бечевой лодку по двое, а то и по трое суток, а сейчас новое средство сообщения всем кажется не в пример соблазнительней. Сидят на металлических скамейках у окон древние старухи. Они теперь так свыклись с воздушным передвижением, что часто из самых отдаленных деревень летают в Усть-Цильму к родственникам на денек-другой.

Скитская — деревня особенная, историческая.

На окраине ее — место заповедное, как высокий темный остров среди желтеющих полей, — небольшой лес из многолетних елей. В этой мрачной чащобе, которую легко обойдешь вокруг за десять минут, — кладбище: то пятиметровые могучие кресты с умелой резьбой, крепленные болтами толщиной с палец, то захоронения старообрядцев — рубленые или точеные столбики с досочками на два ската и деревянным голубком наверху, а в столбик врезан старинный литой образок — один из видов народной скульптуры, поражающий простотой композиции и условностью образов.

Страшные события разыгрались в этом месте.

В 1743 году один из местных жителей, Артемий Ва-

нюков, чье имя многими поколениями пижемцев, усть-цилемцев и мезенцев произносилось с проклятиями, донес из-за мелкой обиды на «бурмистра» архангельскому архиепископу Варсонофию о том, что в лесных скитах скрывается много людей, которые «на дальнем расстоянии от мирских жителей» находятся якобы «для промыслу», «притом оленей содержат», а на самом деле это — раскольники. Варсонофий потребовал вмешательства губернатора, и в пижемские леса (находившиеся тогда в границах Мезенского уезда) отправился воинский отряд под командой майора Ильищева и прапорщика Бородина вместе с «доносителем» Ванюковым, имея инструкции уничтожить скиты. В одной из рукописных «повестей» говорилось об указе, что он велит «людей... крыющихся, по лесам живущим, потаенных сыскивати, а сыскав и оковав их в крепости, и пожитки их отвозить в Губернскую...». Хотя приказ о том майору предписали держать в тайне, крестьяне, жившие в лесах, при помощи верных людей получили «список» или копию и, не желая покидать обжитые места, по-своему подготовились к встрече карателей.

В полночь 7 декабря 1743 года часть архангельского отряда подошла к селению в ста верстах от Усть-Цильмы, носившему имя Великопоженского общежития. В избах не оказалось ни живой души: все жители от мала до велика набились в высокую бревенчатую часовню, отломали крыльцо и лестницы и заперлись там.

Напрасно майор, консисторский канцелярист и пол Козьма, «приданный» карательному отряду, уговаривали великопоженских жителей выйти. Добровольные узники обличали офицера и попа во лжи и на память читали фразы из секретной инструкции. А потом подпалили нарочно для того собранную бересту и свезен-

ные со всей округи старинные рукописные книги и, как свидетельствует один документ того времени, «зажегшись собою, згорели, всего мужеска и женска пола с малолетними детьми семьдесят пять человек. А как зажглись, то великой учинился меж ими крык и визг»¹.

Прошло с тех пор двести двадцать лет, и мы сейчас можем говорить о религиозном фанатизме и дикости и уж никак, конечно, не станем оправдывать такого страшного самоубийства. Но добрые чувства у нас все же на стороне этих мирных, трудолюбивых крестьян, загнанных, как в волчьей облаве, в глухие места и доведенных до предельного отчаяния. А «доносителя» Ванюкова мы и сейчас назовем подлецом, равно как с негодованием произнесем имена майора Ильищева или «милосердного» попа Козьмы. Что уж тут говорить, если даже сенат, едва дошло до него это дело, осудил посылку такой экспедиции и приказал ее прекратить.

Люди сгорели, печальная память об этом «мезенском самосожжении» и других подобных случаях жива и сейчас.

На месте сгоревшей часовни с людьми вырос от елочек, ростом в ладонь, и вознесся островок темного, траурного леса, где никто не только дерево не повалит, но куда и за жердинкой не пойдут.

Добрались мы туда довольно быстро.

Вот в этой самой деревне Скитской живут сейчас потомки спасшихся обитателей Великопоженского общежития, возрожденного после страшного пожара и просуществовавшего до середины XIX века.

Теперь в деревне бригада колхоза, школа. Но самое притягательное для меня то, что, по всеобщему

¹ В. И. Малышев. Усть-дилемские рукописные сборники XVI—XX вв., Сыктывкар, Коми книжное изд-во, 1960, стр. 122. Приведенные фразы взяты из консисторского доношения (л. 16).

признанию устьцилемцев, здесь красивее, чем где-либо, поют народные песни.

На деревянной ноге, опершись локтями о городьбу, стоял и, добро улыбаясь, смотрел на приезжих Давыд Нилович Антонов.

— Я разве пою! — говорит он, окая. — Так, подпеваю. А вот какие песни певал брат мой — его голос даже машинкой записали и в Ленинград увезли. Сейчас бабы наши петь мастерицы, — кивнул он на проходящих мимо двух колхозниц.

Нилыч поманил их, женщины приблизились, но, узнав в чем дело, засмутились:

— Ну, какие наши песни? Если гулять начнем, выпьем на праздник, тогда поем.

Я попросил все же пропеть хотя бы одну историческую песню:

— Говорят, вы знаете про Стеньку Разина.

— Эту поем. Но ведь мы ж не выпимши.

— Мне для дела песня нужна, — доказываю я. — Запишу ее. Понимаете?

— Понимаем. Как не понять? Приезжали из Москвы, из Ленинграда. Записывали.

— Ну вот и отлично. Присаживайтесь на зава-linkу.

Я достал записную книжку. Но женщины смущенно прикрывали концами платка рот и твердили прежнее:

— Так ведь мы не выпимши... Как же...

Давыд Нилович шепнул мне:

— Вот если бы винца...

И многозначительно подмигнул.

После решения этой проблемы — магазин-то рядом — мы зашли в избу одной из женщин — Агафьи Мамонтовны Антоновой. За стол, к тарелке с солены-

ми огурцами, пластмассовому блюду с блинами и блюдцу со сливочным маслом, к соленому хариусу, нарезанному кусками; к самовару, который славно посвистывал, села и другая женщина — Федосья Федотовна Асташева, как говорили, не только песенница, но и лучшая вязальщица красивых чулок.

Вино развязало языки.

— Про Стеньку? — не то спросила, не то предложила Федосья Федотовна, и, не ожидая ответа, уверенно затянула:

Вы вставайте-ко, братцы,
По утру вставайте раненько...

Другие две женщины, незаметно вошедшие в горницу, лихо подхватили вместе с Мамонтовной и Давыдом Ниловичем:

Эх, умывайтесь-ко, братцы, утренней росой...

И снова лихо:

Эх, обтирайтесь-ко, братцы, тонким белым
полотенцем...

Ведущими явно стали Федотовна с Мамонтовной. Первая, видимо, лучше знала слова и начинала строку. Хозяйка, Мамонтовна, сразу подхватывала голосом сильным и красивым. Давыд Нилович подтягивал, с особым ухарством вставляя в начале стиха лихое «И-э-эх».

Концы песенных строк тянули долго, чтобы звук затухал и гас. Лица у всех торжественные и застывшие, неподвижные.

Мы помолимся, братцы, не святителю Николе,
а березовому болвану,
И уж тогда мы зайдемся, братцы,
Эх, на высокие, на горы...

Замирает: «ы-ы-ы...», а Нилыч «эхаёт», и Федотов-
на выносит в хор новую строфу:

Эх, мы посмотримте, братцы,
Вниз по матушке по Волге,
Вниз по матушке по Волге,
Эх, в Астраханскую губернию...

Весь хор, звучащий уверенно и мощно:

Мы посмотримте, братцы,
Стеньку Разика по форме...

Тихо, грустно запекает Федотовна:

Не белым-то забелело...

Вторит Мамонтовна, и они поют в два голоса:

Не черным-то зачернело...

Все гремят:

Зачернела наша Волга
Тонкими, мелкими стружочками...

И опять лирический запев-повтор:

Не белым-то забелело,
Не черным-то зачернела наша Волга...

Свой голос присоединила Мамонтовна:

Тонкими белыми парусами...

Опять сила во всеобщем пении:

Уж вы гребите, не гребите,
Своих ручек не жалеите,
До полуночи, ребята,
В Казань-город проплывайте,
Эх, в Казань-город проплывайте...

Кончилась песня неожиданно для меня:

Пушки-ружья заряжайте,
Стеньку Разика стреляйте,
Эх, Стеньку Разика стреляй-й-те-е.

Звуки песни замерли протяжно, жалостливо, будто вылетев из раскрытого окна, уйдя вдаль, ввысь, и наступила тишина.

Нилыч спроворил еще винца, женщины пели «Один молодец по низкому ходил-гулял», «Размолоденький мальчишка», «Хорош мальчик уродился», у которого «на лиценьке белый снег, на снежочке алый цвет»; и другие — все веселые, «гульбишные».

В дверь уже трижды заглядывал мой спутник, с которым мы условились вместе ехать дальше, и я, поблагодарив женщин и Нилыча, сказал, что мне пора. Если раньше нельзя было упросить скитских петь, то теперь они так разгулялись и разохотились, что в ответ заявили:

— Без отвалной не отпустим.

И пояснение дали:

— Споем на прощанье провожальную. Тебя провожаем...

После задорных и веселых песен острой тоской полоснули первые слова, будто выкрикнутые горюющей Федосьей Федотовной. Чуть не каждая строка с повтором, видно, для того, чтобы сразу горечь-то не прошла:

Ой ты прощай, страна,
И вы прощайте, братья,

Заглотнула воздух певунья, как вздохнула, и:

И вы прощайте, братья, —
Я последний-от раз,
Я последний-от раз,
Я в гостях у вас...

Серьезно, от сердца ведет рассказ:

Когда с вами я жил,
Тогда счастлив я был.
Тогда счастлив я был,
Проць от вас я отстал,
Проць от вас я отстал —
Злой несчастен стал,
Я несчастен-от стал.

Песня поведала, что человек украл коня, попал в тюрьму, и сообщала, как он там сидит, в окошечко глядит, все ждет:

Мимо этого ли окна
Не проляжет ли путь-дороженька,
Не проляжет ли путь-дороженька
И не придет ли моя любушка,
Она не взглянет ли мне в окошечко,
Не промолвит ли мне словечко,
Не обрадует ли мое сердечко...

Поклонились женщины степенно, с сознанием достоинства, как полагается по обряду, и хозяйка Агафья Мамонтовна промолвила:

— Это тебе прощанье пропели. Не осуди. Того и провожаем.

Веками хранили люди эти песни, из поколения в поколение передавали, хотя, конечно, что-то и забывалось, а отдельные слова, непонятные или утерянные, заменялись. В целом же назовите как хотите — песенная традиция, устная литература, фольклор, проявление через привычный обряд народного духа, выражение стремления народа к красоте... И достойно глубокой благодарности то, что делают и ленинградский Пушкинский дом и Институт этнографии, посылая сюда экспедиции и отдельных ученых для записей народных песен и мелодий. В этом — осуществление одного

из ленинских указаний. Ленин говорил о составителе книги причитаний Северного края, что он «сделал хорошее дело, собрав и записав все это». Другой книгой — «Завоенные плачи» — Владимир Ильич, по его собственным словам, «увлекся», забыл, что она не его, и стал отчеркивать особо интересные места.

Ленин сделал важный вывод:

«Ведь на этом материале можно бы было написать прекрасное исследование о чаяниях и ожиданиях народных... Это подлинно народное творчество, такое нужное и важное для изучения народной психологии в наши дни»¹.

В той же Скитской, от того же Нилыча услышал я фамилию Малышева, которую знал раньше по литературе и которую с любовью и уважением называли мне и лингвист Никита Толстой и живший тогда на Севере писатель Александр Рекемчук, давно соблазнявший меня чудесами Печоры.

Нилыч восторгался:

— Малышев, Владимир Иванович, это, брат, такой знаток старых книг, что ой-ой-ой! Как копнет, так и найдет. И где копать знает.

На Печоре с одинаковым уважением говорили мне о Малышеве и учитель истории, понимающий, что ученым сделано для науки, и седобородый староверский начетчик, упрямо уверявший меня в существовании антихристовых знаков, и библиотекари, учитывающие спрос на научные книги, и просто старухи, хлопотавшие по дому и услыхавшие, что разговор зашел об этом человеке. У одних Малышев ночевал, приехав в деревню верхом на лошади, у других попросил разрешения порыться на чердаке среди древней рухляди, третьи са-

¹ «Советская этнография», 1954, № 4, стр. 118.

ми, по его запросу, выволокли из сенцев корзину с книгами, оставшимися после бабки-молитвенницы, четвертые, узнав в нем специалиста по рукописям, показали свои собрания книг, изукрашенных киноварными заставками, а кое-что и подарили «для науки».

Путешествия на Печору Малышев начал еще студентом Ленинградского университета в 1934 году. Уговаривая кого-нибудь отдать или продать рукописную книгу, любил упоминать о драгоценной мысли летописца: «Словеса книжные суть реки, населяющие вселенную».

В Усть-Цильму тогда приходилось добираться из Архангельска через два моря: Белое, Баренцево — это еще считалось «более легким путем». А то так только зимой в кибитке на сменных лошадях, подобно писателю и этнографу С. Максимову, побывавшему на Печоре, Мезени и в других северных местах в середине прошлого века.

Из первой поездки Малышев привез в Ленинград несколько старинных рукописных книг. Это на всю жизнь определило характер его научных интересов.

Отечественная война сделала Малышева офицером, командиром батальона. Но едва прозвучало слово «мир», молодой ученый снова за своим излюбленным занятием. И как метко определил Нилыч из Скитской: «Владимир Иванович как копнет, так и найдет». В одном из городов по дороге в родной Ленинград В. Малышев обнаружил «Слово о гибели» — выдающийся памятник русской литературы XII—XIV веков, известный в единственном списке, так что за границей маловеры сомневались: а подлинное ли это произведение? Владимир Иванович доказал: подлинное.

Печора по-прежнему тянула Малышева. Больше того, он искренне и самозабвенно влюбился в этот свое-

образный, богатый и интересный, истинно русский край. Каждое лето ученый отправлялся в северный заповедник старины — теперь уже не через дальние моря, а по новой железной дороге до станции Печора, а затем теплоходом в Усть-Цильму. Но по чащобам и болотам района в селения на реках Цильма и Пижма он все равно должен был пробираться либо верхом на лошади, либо пешком, либо пользуясь лодчонкой, осиливающей пороги. И никакие дорожные невзгоды и случайности не пугали его. В округе примерно на сто километров от Усть-Цильмы не осталось ни одного селения, которое ученый бы не навестил, где не побеседовал бы со стариками и откуда что-нибудь не вывез. У него завязались дружеские отношения со старообрядцами, знатоками, ценителями и собирателями русской книжной старины. В записной книжке ученого сотни адресов. Ему ведомо, что в Усть-Цильме наибольшей известностью пользовался Иван Степанович Мяндин, а в деревне Рошинский Ручей некогда работали известный певец и рисовальщик миниатюр Федор Иванович Вокуев. Малышев научился безошибочно разбираться в почерках переписчиков книжной старины и отличал не только крупные, угловатые и безнажимные буквы Н. И. Носова от красивой, «кудрявой» скорописи Ф. С. Вобрецова, но и находил разницу в «печорских полууставах» как будто бы очень похожих почерков И. С. Мяндина и А. А. Вокуева.

После каждой поездки В. И. Малышев из своих бескровных, но многотрудных и опасных битв возвращался с научными трофеями: то найдет «Повесть о саможжении в Мезенском уезде в 1743—1744 году», то «Поминник» об этих сгоревших, то разные сборники стихов, а то «Повесть о Таисии-блуднице» или «Повесть о Темире-Аксаке», «Выписки из посланий митрополи-

та Фотия во Псков 1419 году» и «Повесть о быке» с интересным рассказом о быте устьцилемских жителей XVIII века. Событием явилась находка В. И. Малышевым «Повести о Сухане» — прославленном киевском богатыре, защищавшем родную землю от нашествия врагов.

Как-то неловко мерить такие победы числом, но разве утерпишь и не скажешь, что после множества своих поездок Владимир Иванович создал в Ленинграде, в Институте русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом), Печорское собрание, состоящее из 385 рукописных книг. И книги эти, как сообщает сам Владимир Иванович, «преимущественно исторического и литературного содержания». Все это ценности народной культуры, спасенные от гниения, пожаров, уничтожения, и им просто нет цены. Выпущенная В. И. Малышевым книга «Усть-цилемские рукописные сборники XVI—XX веков» дала огромный материал для историков, литературоведов и вообще всех, кто искренне любит историю, литературу и искусство родной страны.

По сведениям В. И. Малышева, в селе Замежном на Пижме некогда жил Кирилл Кирикович Чуркин, славившийся рисованием интересных миниатюр и настенных листов. Я написал в Ленинград, поинтересовался, нет ли в Печорском собрании Пушкинского дома работ этого народного художника — «изографа», как раньше говорили.

А сам отправился в Замежное, размышляя о том, что ведь народное изобразительное искусство может проявиться не только в иллюстрировании и украшении старообрядческих книг, но и как-то по-другому.

Даже если бы я ничего не нашел в Замежном, ради красоты в пути стоило туда добираться.

А путь лежал из села Степановского рекой.

В географии есть такая отрасль науки: топонимия. Она занимается географическими названиями — откуда произошли имена городов Москва или Тотьма, рек Пинега или Ворскла, озер Лаче или Ильмень. Я поинтересовался, почему эту деревню называют Степановской, и сам подсказал ответ:

— Какой-нибудь Степан первым поселился здесь?

Догадаться об этом, конечно, не составляло труда.

Но о Степане сохранились кое-какие сведения кроме имени. Будто бы больше сотни лет назад в лесном старообрядческом скиту жил инок Степан. Полюбил он девушку из деревни и стал с ней встречаться. Наставник сказал: «Не сей соблазн. Изгоняю тебя из скита». Но чтобы не пропал парень, вернувшийся «в мир», его недавние «братья» вырубili на берегу лес, выкорчевали пни, очистили поле для пашни и пожни, помогли построиться. Наставник напоследок приказал: «Живи, а к нам тебе больше нет хода».

От Степановской до Замежной по Пижме считается двадцать километров. Но я скоро убедился, что счет этот — условный.

Пижма — река и неширокая и неглубокая, не то, что Цильма, куда в начале лета по полой воде заходят буксиры с баржами. По Пижме в ту же пору и катерок еле проскользнет, а к июлю и лодка-моторка в неладный час засядет на песчаном перекате или каменном пороге.

Плыли мы ранним утром, когда солнце светило сбоку и лучи пронизывали красноватую воду до усеянного валунами дна. Раз десять и мы скребли днищем лодки по камням, хотя про степановского моториста

Василия Софроновича Чуркина односельчане почти-тельно говорили, что его слушается любой мотор.

На двадцати километрах пути оказалось двадцать пять порогов: бурлящих, шепчущих и молчаливых, предательски скрытых под водой. Но Василий Софронович вел лодку на полном газу, кривляя по реке, порой шел поперек течения, отыскивая проходы по-глубже, иногда проносился в метре от песчаного ост-ровка, а через минуту объезжал на крутом повороте глыбу камня, видимую только ему одному.

Реку окружали, вплотную подступая к невысоким берегам, густые еловые леса. Кипящие порожи-стые изгибы сменялись ровными плесами с застойной черной водой, отражающей зубчатые береговые стены ельни-ка. В таких заводях плавала пена — след недавнего беснования воды на порогах.

А то вдруг Пижма становилась широкой и мелкой, и дно, покрытое пестрой — черной и белой — галькой, казалось рядом — рукой его достанешь. Тогда мото-рист вел лодку на малых оборотах, боясь посадить ее на мель или на валун.

Прохладный ветерок напоминал о недавнем — по-следнем июньском заморозке, ласковое солнце, густое синее небо с нарядными северными облачками — пух-лыми, плотными, отливающими голубизной, лес и ре-ка-красавица — все радовало безмерно. Да, красоту северной природы можно любить и при суровой зиме. Недаром к такой красоте возвращаются печорцы, да-же побывавшие и в больших наших городах, и за гра-ницей. По пословице: «За морем теплее, а у нас свет-лее; за морем и веселье, да чужое, а у нас и невзгода, да своя».

Замежная порадовала меня открытием. Получилось так, как я и рассчитывал: не в одних книжных укра-

шениях проявило себя изобразительное народное искусство. Я не знаю музея, где бы хранились удивительные по красоте здешние расписные деревянные ложки. В Замежной я их увидел. Куда до них известным хохломским! Красно-черные узоры взяты со средневековых русских рукописных заставок и букв; четырехугольники и ромбики, а по углам — петельки, двухцветный орнамент внутри, черточки и точки на черенке, красный ободок. Стоит поднести ложки к огню, они просвечивают, будто отлитые из мёда или воска.

И вот я на родине этих необычных ложек.

— К мастерам! Первым делом к мастерам!

Но, оказывается, сейчас работает только один мастер — Павел Антонович Мяндин, да и он уже доживает свой долгий век. Ему семьдесят семь лет.

В избе у Мяндина — березовый дух, скамьи завалены только что вырезанными и еще не крашенными ложками. А когда разговор зашел о мастерстве, жена его Марфа Фотиевна принесла из сеней большую наволочку, а в ней — сотни совсем готовых ложек.

— Откуда повелось наше дело? — переспрашивает Павел Антонович, седобородый, медлительный, ласковый и весь какой-то удивительно добрый и уютный человек. — С отцов-дедов и режем и пишем. Как Усть-Цильма основалась, так и Замежное возникло. А ложки стали не сразу делать: лет сто назад, может, чуть больше. Это — коренной промысел в нашей деревне, по 17 тысяч штук в год, не упомню уж, кто подсчитывал, а это точно. Жили-то плохо, вот и старались сколотить лишнюю копейку. А теперь уж по привычке.

Дед Павла Антоновича — Еремей, или по-деревенскому Ерема, сильно бедовал в деревне. Хлеб тогда не завозили, должны своим жить, а как им проживешь,



коли мороз губил посевы. Только выколосится, станет наливаться, тут его и обморозит. Помнит Павел Антонович, по рассказам деда, что семь лет подряд убивало хлеб морозом. В такую голодную пору мужики уходили на Чердынь. Про пароходы в те времена здесь и слыхом не слыхали. Ерема с женой налаживали лодку-каюк и плыли из Цильмы в Печору, а из Печоры в Вычегду. По волокам, если удача поможет, лошадь каюк тащила, а иной раз и своей силой тягали. И Ерема и жена работали в батраках, а два сына — Федул и Антон — по миру за кусками ходили.

Потянуло Мяндиных в родные места. Но и там оказалось не слаще. Ерема сеял рожь и ячмень, сажал на огороде репу и редьку. Картошки еще не видывали. Антон приучился к ложкарному ремеслу. А когда женился и вырастил сына, и тот взялся за ложки. Жил в деревне старик Миней Чупров, умелый резчик. Не хуже резал и запяньцовский мастер, которого в деревне непочтительно звали Ванька Куц. От них Павел и набрался мудрости. Стал помаленьку сам расписывать ложки, так же, как делали другие «писари». Рисунок в те давние времена изображался побогаче: не только тот, что сейчас, «в клетку». Одни мастера писали «кривульку», как в старых печорских рукописных книгах, скобки двух цветов — черного и красного (сейчас иногда на обратной стороне ложки такой узор дают). Кро-

ме обычных ложек, весьма ценимых местным населением за то, что они «губы не жгут», мастерили, да и сейчас мастерят «ласты» или «ластики» — большие ложки для сметаны. Расписывают их только тогда, когда заказчик это прикажет, а так только олифят.

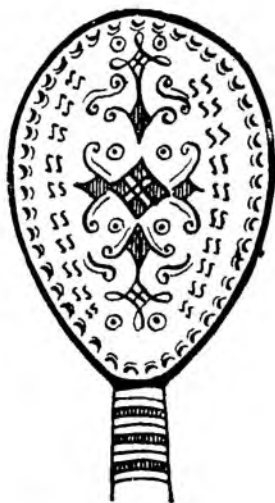
Ложкарь сам ездит в лес, срубают молодую, ладную несукроватую березу, еще сырую распиливает на чурочки по длине ложки, колет их и тешет, а затем резцом «выкапывает» ямку и обрезает по форме. Когда такие ложки высушат, начинают их «скоблить» с двух сторон и красят обычными школьными красками.

Помнит Павел Антонович, что раньше старики сами готовили краски. Для черной — «чернил» — разводили сажу и добавляли «тающую серу» — смолу лиственницы, собранную в лесу. Пишут простой школьной ручкой с пером — сначала черной, потом красной и, наконец, зеленой краской.

А когда роспись готова, ложкари олифят товар: два-три раза покрывают олифой собственной варки и сажают потом для закалки в печь на всю ночь.

Чтобы показать, как все это делается, Павел Антонович вышел на двор, выбрал на солнце возле колодца удобное местечко, разложил баночки с краской и, улыбаясь, стал наводить привычный узор. Подошел сверстник Мяндина Тимофей Васильевич Торопов, некогда тоже искусный ложкарь, а сейчас совсем из-за слабого зрения оставивший ремесло. Он сел рядом, и стали два старика вспоминать былое время, когда люди ценили и любили их ложки.

Заодно скажу я несколько слов и о мастере Федоте Осиповиче Аншукове из Скитской (умершем в 1946 г.), любившем подписывать свои ложки. Добром поминают этого человека — в молодости удачливого охотника, потом умелого сапожника, а под старость приняв-



шегося за ложкарное дело. Впрочем, и Павел Антонович Мяндин в молодости тоже любил охотиться, так что иной раз добывал лис поболее десятка. Хорошо когда-то расписывал ложки и уроженец Скитской, ныне житель Усть-Цильмы Семен Саввич Чупров.

Может, в какой-нибудь музей и попадает их работа как образец старого быта и красоты народного искусства. В Музей народного искусства в Москве я привез несколько замеженских ложек. Умрут старики в Замежной, как умерли они в Скитской, и некому будет перенять их дела. Да и нужно ли? Но не хочется, чтобы исчезли их имена. Металлические ложки, конечно, немного обжигают рот, но ведь нельзя не согласиться, что они современной.

Архаичность ложкарей, да и живописных женских нарядов особенно отчетливо ощущаешь рядом с современностью.

Помню, в одном из цилемских сел, Рочеве, увидел я девушку в красочном местном наряде: в юбке со сборками, кружевами и лентами, в шелковой красной кофте с золотыми парчовыми «ластовицами», с бусами и золотыми пуговицами. Мы разговорились, и я узнал, что это — знатная доярка из местного колхоза «Сила», депутат Верховного Совета Коми АССР Ирина Григорьевна Рочева.

Я зашел к ней в домик с ослепительно белой печкой и красным подпечьем, послушал, как радио передает из Москвы «Пиковую даму», и разговорился о ее делах. Меня интересовало, какие наказы давали ей избиратели и как Ирина выполняет их. И снова оказалось, что красота народного искусства, традиционная одежда, исторические песни и «горки», которые здесь так же любимы, как в Усть-Цильме или Загрявочной, — всё это ничуть не мешает утверждению нового.

Ирина рассказала, что избиратели давали наказ построить в Рочеве электростанцию. Главное уже сделано: приобретен двигатель. Просили колхозники, чтобы у Карпушевки останавливался печорский пароход. И этого добились. Родители настаивали на проведении парового отопления в школе деревни Коровий Ручей. В этом году работа включена в план строительства. Показала мне Ирина Рочева и о большом, всенародном наказе — о гигантском строительстве на Печоре, о повороте северных рек на юг, чтобы воды Печоры текли не только в Баренцево море, а и в Каму и Волгу, в Каспийское море.

Фантастический по масштабу замысел! Но когда я познакомился с материалами поближе, то понял, что

если это и мечта, то очень близкая к осуществлению. Мы в двух шагах от сказки. И не потому это реально, что сказка скромна. Сказка, мечта — великолепно. Великие силы страны, взявшейся за невиданное, неслыханное дело!

А мечта — она пробивалась и раньше. Сто семьдесят пять лет тому назад, еще при Екатерине Второй, начали сооружать канал, соединяющий системы двух рек. Он должен был связать Северную Кельтму, приток Вычегды, с речкой, впадающей в Южную Кельтму, приток Камы. Тридцать шесть лет с долгими перерывами строили канал, чтобы потом все-таки забросить: думали — он выручит судоходство, а получились только лишние хлопоты.

И опять мечты: вот бы можно было пустить сквозным путем пароходики, буксиры и баржи.

А в тридцатых годах, уже в советское время, по-другому повернулась эта проблема. Транспортный вопрос решался не в первую очередь. Главным стал вопрос о воде.

Речь зашла о небывалом, о том, что считалось несбыточным, — повернуть течение северных рек на юг, извлечь пользу из гигантских потоков воды, безвозвратно, бесцельно уходящих в студеные моря, в Северный Ледовитый океан. И породниться должны не только две Кельтмы — для поля великого мирного сражения приходилось брать площади с десятков Франций, с сотню Швейцарий, Голландий, Бельгий — от устья Печоры у Баренцева моря до южных береговых границ Каспия.

Уровень Каспия за последние тридцать лет понизился более чем на два метра.

Если повернуть на юг только часть воды Печоры и Вычегды, бессмысленно сбрасываемой природой в Се-

верный Ледовитый океан, — спасительное переливание крови даст силы древнему Каспию.

Это — не мечта. Это — реальный план.

Возникнут новые гидростанции, включенные в великий ленинский план электрификации страны.

Ни Печора, ни Вычегда не исчезнут с карты, не потеряют своего значения. Ведь своим сестрам — Каме и Волге — они отдадут только четвертую часть своих сил.

Те, кто поедет или полетит на Печору через несколько лет, еще увидят и хороводы и «горки» в За-межной. Ну а вдруг родственники Давыда Ниловича Антонова или Федосьи Федотовны Асташевой споют в Скитской песню не только о Стеньке Разине, но и о могучем строительстве у великого поворота?

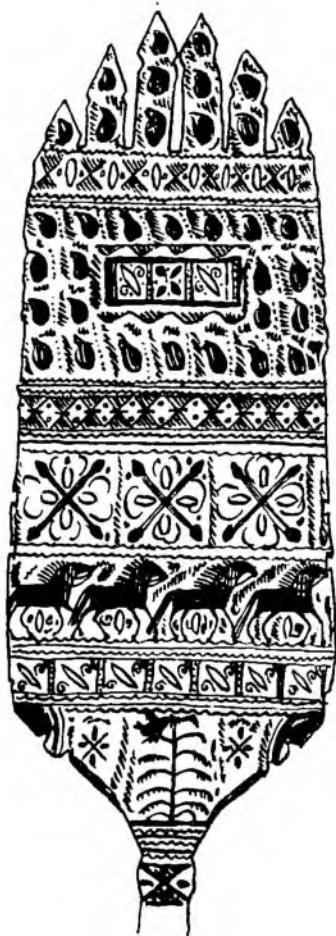
К прежней красоте прибавится новая.

КРАСНЫЕ КОНИ



ЕЗЕНСКАЯ роспись всегда казалась загадочной.

Безвестные северные мастера, ни единой фамилии которых никто и никогда не называл ни в этнографических материалах, ни в книгах и статьях по русскому народному искусству ни у нас, ни за границей, расписывали короба для приданого, «мочесники» для льна, но главным предметом их украшений, так же как у северодвинских и городецких



мастеров, являлись прялки, орудия труда, украшения в избе. Характер росписи отличался не только своеобразием — этим качеством ценна и роспись Нижней Тоймы, Борка, Городца и других мест: у каждого свое лицо. Мезенские прялки казались наименее русскими из всех. Здесь нельзя увидеть ни традиционной русской народной яркости в росписи, ни традиционных элементов цветочного и травного орнамента, а то, что совпадало по тематике с росписью других мест — кони и птицы, — не давало никаких поводов для сближения с русской манерой. Больше того, невольно рождалась мысль о странной связи — мезенские русские прялки больше всего походили на рисунки первобытных народов. Вот так же тысячелетия назад охотники, укрывавшиеся от непогоды в каменных пещерах, оставляли на стенах своих жилищ изображения животных: бизонов, быков, коней.

Трудно представить себе большее обобщение, чем конь, изображенный любым из старых мезенских мастеров: на желтом фоне прятки кирпично-красное пятно, как бы соединенное из трех частей — четырехугольника туловища и выгнутой шеи, переходящей в морду. Остальное дорисовывалось уже тонкими черными штрихами: десяток черточек, изображавших гриву, четыре длинных черточки хвоста, странные, сделанные единым росчерком ноги, более похожие на паучьи лапы, две черточки ушей и узда с двумя черточками повода. Вокруг коня обычно давался очень простой, можно даже сказать, примитивный орнамент — столбики черточек и завитки-завихрения. В ряду помещалось четыре коня, над ними — четыре оленя, все отличие которых от коней заключалось в том, что вместо грив и ушей черной же краской над спинкой рисовался один разветвленный рог. Кони и олени помещались в нижней половине прялочной лопасти, начиная с середины, а сверху в строго установленном порядке шли горизонтальными рядами очень простые красно-черные узоры: красные пятна с бахромой черных черточек, красные треугольники с черными завитками, красные полосы, кресты и ромбы. Размер лопастей — меньше тех, которыми пользуются пряжи на Северной Двине, но на верхушке — четыре зубца с «главками», очень похожими на такие же детали у вологодских прялок.

Мезенская роспись поражала скупостью изобразительных средств, художественным немногословием, цветовой сдержанностью. Черная и красно-кирпичная краски, казалось бы, заставляли предполагать низкий уровень художественной техники; ведь краски эти самые простые, самые «первые»: красная, очевидно, из глины, а черная — сажа. Но композиция всего украшения — зрелая, говорящая о большом художествен-

ном вкусе. Интересен и «мужской» характер росписи — прялки расписывали мужчины, те, для кого самым важным являлись олени и кони.

А что написано о мезенской росписи? Строки, только строки....

А. Бакушинский, познакомившийся с мезенской росписью по нескольким музейным образцам, отметил, что узоры эти «отражают круг очень ранних земледельческих представлений. Они пережитки первобытно-родового уклада жизни»¹.

В. Воронов охарактеризовал мезенскую роспись как «любопытную и таинственную разновидность крестьянской расписной декорации» и даже как... «глубочайшие пережитки архаики греческих стилей»².

Некоторые общие признаки (опять-таки по нескольким музейным экспонатам) наметил В. М. Василенко, но сделал вряд ли справедливые выводы, что эта роспись «не изобразительна»³.

Известно было, что «таинственная» роспись рождена в селе Палашелье, в среднем течении реки Мезени, и в селах неподалеку от него. Об этом в нескольких словах упоминали П. Г. Истомин⁴ и С. Томилов⁵.

В общем, представление об этом виде народного искусства, как видим, очень скупо. И надо ли удивлять-

¹ А. Бакушинский. «Роспись по дереву, бересте и папье-маше». М., Изогиз, 1933, стр. 3.

² В. Воронов. «Крестьянское искусство». ГИЗ, стр. 77.

³ В. М. Василенко. «Русская народная резьба и роспись по дереву». Изд. Московского университета, 1960, стр. 81—82.

⁴ П. Г. Истомин. «Современное народное искусство на Севере». — Сб. «На Северной Двине», изд. Архангельского общества краеведения, 1924.

⁵ С. Томилов. «Кустарничество прялок в Покшеньгском». — «Бюллетень Северо-восточного бюро краеведения», вып. 2, Архангельск, 1926, стр. 27—29.

ся, что в статье, появившейся в самое последнее время (причем у очень знающего автора), утверждается, что мезенская роспись якобы похожа на ту, которая характерна для Северной Двины. О. В. Круглова, много сделавшая для описания типов росписи на Северной Двине, утверждала, что «на мезенских прялках... растительный узор... напоминает северодвинский, но дан он более крупно и просто»¹. Она пишет о «напряженном колорите», о том, что «сцена катания... основная схема сюжетной композиции» мезенских прялок, об «изображениях... индюков, птиц сиринов».

Всё это, как я убедился впоследствии, от первого до последнего слова — чистая фантазия, рожденная слабым знакомством с мезенской росписью (О. В. Круглова писала свою статью до поездки на Мезень).

Вот и получалось: стой в музее перед мезенской прялкой, любуйся необычным рисунком и гадай, что это за странная роспись, кто ее выполнил и выполняет ли сейчас? Может, это дела давно минувших дней, а вдруг и сейчас еще живы творцы удивительных по сдержанности композиций? И верить ли тому, что мезенская роспись похожа на северодвинскую?

Поэтому, собираясь на Печору, я взял дополнительную нагрузку — решил попасть и на Мезень, и в Белощелье, и в Палощелье.

Известный русский путешественник, этнограф и писатель прошлого века С. Максимов побывал на Мезени, но о «тайболе» — четырехсотверстной болотистой тайге, разделяющей две северные реки Печору и Мезень, писал, нагнетая всяческие страхи. В его изобра-

¹ О. В. Круглова. «Жанровые росписи русского Севера». — «Сообщения Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника», вып. 3, Загорск, 1960, стр. 196—197.

жении тайбола рисовалась «как темная ночь без про- света, со всею своей мрачною и непривлекательною об- становкою». С. Максимов говорил одному из местных жителей: «Пугает меня эта ваша тайбола». И житель загадочно и насмешливо отвечал: «А вот поезжай: увидишь — нам скажешь»¹.

Максимов ехал зимой на лошадях, потому что толь- ко в это время года, пользуясь именно этим транспор- том, удавалось тогда осилить «роковые» четыреста верст: летом тайбола непроходима из-за болот.

Я разузнал, как мне предстоит добираться до цели. Из Усть-Цильмы до Лешуконья, села в среднем тече- нии Мезени, напрямик те же четыреста километров. Но рейсов, связывающих таким маршрутом Коми АССР и Архангельскую область, нет. Надо из Усть-Цильмы ле- теть на север, в Нарьян-Мар, оттуда на Архангельск, вдоль побережья Баренцева и Белого морей, а уже из Архангельска в Лешуконье. При самых благоприятных обстоятельствах, если самолеты из каждого пункта вы- летают ежедневно, а билеты будут заказаны заранее, мне потребуется на такой кружной перелет трое хло- потных суток: час-два в день воздушного путешествия, а остальное время — на ожидание.

Можно, правда, возвратиться пароходом до станции Печора и ехать дальше поездом или спуститься паро- ходом до Нарьян-Мара и плыть двумя морями, но это и дальше и дольше. С. Максиму, осваивавшему маршрут Мезень—Печора, советовали запастись терпе- нием. Неужели и мне через сто с лишним лет делать то же?

Помню, в Москве, незадолго до поездки, бессонной ночью я думал:

¹ С. В. Максимов. Год на Севере. Ч. II, — Собрание сочи- нений. т. 9, стр. 257—258.

«В Париж из Москвы я добирался за три с половиной часа, а если учесть разницу поясного времени, то вылетел из родной страны в час дня, а в половине третьего уже шагал по бетонным плитам парижского аэродрома Бурже. Примерно то же самое, когда из ташкентской жары на ТУ-104 переносишься в московские морозы. А тут на самолете же предстоит столь долго добираться всего-навсего до соседней реки!»

Я представил себе зеленый океан лесов, изредка русла малых рек, частые болота, нечастые озера и опять леса, леса, леса... Если загорится такая громадина, плохо придется лесным обитателям. В каком-то фильме я видел, как, гонимые огненным шквалом, панически бежали рядом олени и волки, лисы и зайцы. Загорится... Но ведь есть лесная пожарная охрана. А она не пешком бродит, не на велосипедах колесит по болотам. В газетах пишут о воздушных пожарных десантах.

«Стоп! — остановил я сам себя. — Десант? С самолета?»

Благословенная бессонница! Наутро, наведя по телефону справки, я отправился к Михаилу Михайловичу Бочкареву, начальнику Главного управления лесного хозяйства и лесной охраны РСФСР. Я спросил:

— Не может ли писатель, интересующийся советским Севером и знающий, что единственным властелином воздушных путей над тайгой является лесная авиация, перебраться при вашей помощи с реки Печоры на соседнюю реку Мезень?

Секретарша начальника соединяла своего шефа с дальними и близкими, местными и междугородними абонентами.

Я еще раньше прикинул по карте воздушный путь от Печоры до Мезени и знал, что он не столь уж мал.

Но когда мне сказали, что это равно расстоянию от Москвы до Горького или Брянска, я все же удивился: рейс солидный.

Когда стало известно, что в интересующих меня местах есть и самолеты и летчики-наблюдатели и что маршрут им знаком и полет возможен, я обрадовался.

Из Москвы я уезжал с официальной бумагой, разрешающей служебный перелет из Усть-Цильмы в Лешуконье. Бумага пригодилась мне, когда подошло время прощаться с Печорой.

Маршрут пролегал над той дорогой через тайболу, по которой свыше ста лет назад ехал в своем возке, обитом оленьими шкурами, укутанный в меха С. Максимов. Часто видел я прогалины в лесу, белую глину, песок и щебень заброшенной дороги, будто прочерченные сквозь тайболу светлые линии—следы пути Печора — Мезень. Даже на подробных областных картах эта дорога уже не существует, как не прочерчивают «государевы дороги» в Прионежье или волоки между реками. В наши дни — это следы истории, дороги воспоминаний.

Интересно, летя над тайболой, поглядывать на современную карту. Обычное явление: на картах стоят кружочки — условные обозначения городов или больших сел. На крупномасштабных картах занимают свое место и деревни. А тут на солидной областной карте среди зеленых кудряшек, обозначающих леса, и зеленых черточек — болота, вдруг мелькает маленький кружок и надпись: «Житель». Как, один житель удостоился такой чести?! Но ведь вокруг на сотню-другую километров нет не только деревни, но даже другого «жителя».

Смотришь вниз — у ручья или речушки одинокая бревенчатая изба. Кто там? Действительно, житель, раскольник, раньше считавший себя затерянным и невидимым в непроходимой, окруженной болотами чаще, а потом при первой аэрофотосъемке полавший на карту? Или пока составляли, печатали и перепечатывали карту, житель уже обзавелся семьей, и к речке бегают белоголовые ребятишки, купаются и таскают пескарей, а в грибную и ягодную пору бродят по лесу. Может, они кричат там «ау» или, задрав головы, восторженно смотрят на самолет, а я из-за стремительности полета не в силах их заметить, а из-за рокота могучего мотора не слышу?

А может, этот отшельник так и умер в одиночестве и даже похоронить его было некому? Может, название на карте — только память о нем?

И всё-таки необычно и интересно: «Житель».

Самолет летел не напрямик из Усть-Цильмы в Лешуконье. Командир корабля и штурман проложили трассу углом, выйдя из Мезени километрах в пятидесяти выше по реке и затем следовали к районному центру над мезенским побережьем. Я знал об этом и попросил сказать мне, когда пролетим над Палощельем. И вот штурман, Авенир Анатольевич Крутов, делает знаки:

— Палощелье.

С каким волнением, радостью, интересом всматриваюсь я вниз, где возле крутой излучины реки мелко рассыпались деревянные избы деревни, ради которой я совершал это долгое и трудное путешествие. Остались позади тысячи километров железнодорожного пути, сотни — водного и сотни воздушного. Скоро я буду в Лешуконье, а оттуда до села, к которому стремлюсь и на которое сейчас смотрю с нежностью, останется ка-

ких-нибудь сорок с лишним километров. Это что-нибудь вроде того, как от Москвы до Пушкино — расстояние в возможностях дачного поезда.

Не успел я насмотреться на Палощелье, как показалась другая деревня, за ней третья, четвертая. Скоро и райцентр.

Мы летим вдоль правого берега Мезени, над «щельями». На русском Севере так называют крутые береговые обрывы. Повыше Лешуконья на Мезени щелья глинистые, красные. А потом вдруг, как белоголовый мальчишка среди пламенеющей рыжей родни, — одно долгощелье, ослепительно светлое, песчаное. И деревня зовется Белощелье. Километров восемь еще выше — маленькая деревушка Конецщелье, которую сейчас чаще именуют Конещелье.

Я много летал на самолетах, но посадка в Лешуконье — одно из самых красивых зрелищ такого рода. Село расположено при впадении реки Вашки в Мезень. Зеленъ различных лесов перемежается с полями, песчаными отмелями и глинистыми обрывами, как будто здесь даны образцы всего, чем северная природа может удивить и соблазнить приезжего (у нас еще нет термина «прилетного», хотя, в сущности, разве можно назвать приезжим пассажира воздушного транспорта?).

А затем после трехчасового гула мотора — глубокая тишина села, которое недавно по необъяснимой причине какие-то администраторы лишили поэтического имени Лешуконье и присвоили стандартное окончание: Лешуконское.

Лешуконье... Это звучит как в сказке. То ли леший на коне вырвался из чащобы и носился по полю, то ли играл лесной хозяин в бабки, и своей заколдованной битой выбил леший весь кон. Гадай, как хочешь, как тебе воображение подскажет. В творении сказки поможет и

тишина и дома со старинной русской резьбой балконов, с коньками на могучем охлупне крыши, с остатками краски на нарядных фронтонах.

Первый удар, который я получаю в Лешуконье, — это сообщение, что не только пароходы, но и катера вот уже десять дней как перестали ходить по Мезени. Дождей нет, река обмелела — на самых каверзных перекатах глубина всего двадцать сантиметров.

Куда идти за помощью? Конечно, в райком партии.

Второй секретарь разводит руками:

— Можно бы попасть в Палощелье на почтовом глосере, но, как нарочно, недавно на Иртыше кто-то вот так же, по оказии, сел с мотористом-почтальоном и утонул. Теперь строжайший приказ министра: никого, ни в коем случае не брать. Идут в Палощелье колхозные моторки, но на них вам добираться часов десять.

— Это сорок-то километров?

— По карте — сорок, — уточняет секретарь. — А по фарватеру в это время года, когда мели на каждом шагу, и все сто наберутся. Да дело не только в этом. Дует верховой ветер, а это значит, что едва выйдете, как вас забрызгает, и промокнете с головы до ног. Десять часов в мокрой одежде не выдержат и бывалые люди.

— Что же делать?

— Переночевать у нас в Лешуконье, а там, как в сказке: утро вечера мудренее.

Ну, уж если секретарь райкома в этом сказочном селе ссылается на сказку как на высший авторитет — тогда делать нечего.

А рано утром звонок:

— Повезло вам. Есть возможность добраться до Белощелья. Палощелье там совсем рядом.

— Что, верховой ветер стих? — спрашиваю секретаря.

— Какое там! Еще усилился. Но вот какая ситуация создалась. Километрах в девяноста от нас целую неделю бушевал лесной пожар. На тушение его мы из многих сел района посылали людей. Теперь пожар потушили, надо людей вывозить. Слышите, вертолет летит? Это он пошел за теми пожарными, что из Лешуконья. Через час он вернется с ними и отправится за белощельцами — их доставит с пожара в родную деревню. Если не боитесь, будьте через час на аэродроме, полетите сначала на пожар, а уж оттуда в Белощелье.

— Годится! — отвечаю. — Собираю вещи.

— Собирайте. Высылаю машину.

И вот через час брюхатая стрекоза с непомерно длинными лопастями пропеллера, рокоча, как взправленный самолет, опустилась на лешуконский аэродром. Из брюха высыпало десять человек в серых ватниках. Я, нагнувшись, торопливо прошел под пропеллером и в качестве единственного пассажира взобрался в кабину. Рев мотора усилился. мы поднялись в воздух.

Сразу вспомнил фразу секретаря про верховой ветер, который усилился. Покачивало нас изрядно, да и двигались мы, повидимому, не очень ходко, так как только через 45 минут показалось озеро, возле которого виднелись следы пожара.

Сели мы в... болото. Вернее сказать, не сели, а только коснулись воды и повисли в воздухе. Летчик-наблюдатель открыл дверцу и показал на пальцах восемь, то есть «беру восемь человек». И сразу три группы бросились бежать к самолету.

Люди, как кузнечики, запрыгивали в вертолет, взволнованные тем, что возвращались домой, к семьям, живые и невредимые, если не считать того, что лица и шеи, в кровь искусанные злыми лесными комарами, завернуты в сетки, тряпки, майки. Чувствовали они

себя победителями: опасный труд не пропал даром — лес отвоеван от огня, сохранен, его можно заготавливать, сплавлять, строить из него дома.

Едва поднялись в воздух, как летчик-наблюдатель выяснил: в несколько необычном состязании — беге по болоту — победили не жители Белощелья, а села Ценогора, находившегося ближе к Лешуконью. Но летчик решил все же выполнить обещание и полетел туда, куда должен доставить меня, тем более, что это по пути.

Второй раз вспомнил я слова секретаря о ветре. Сейчас он стал попутным. До Белощелья мы домчались буквально со скоростью ветра — за двенадцать минут. Сделав круг и не обнаружив площадки, где бы провода не мешали, летчик совершил бросок в сторону, к Мезени, и сел на прибрежную отмель.

Поблагодарив летчика за доставку и пожелав пожарникам счастливого пути до Ценогоры, я остался один возле своего клетчатого чемодана. Берег можно было бы назвать пустынным, если б не стадо телят вдалеке. Но уже через две минуты с белых горok, на которых расположена деревня, скатилась стайка ребят. Они видели, что вертолет кого-то привез и высадил на берег. Ну как тут не поторопиться и не узнать, в чем дело?

Заправилой среди ребят оказался шестнадцатилетний Гена Чурсанов. С суровой скромностью, но втайне гордясь, сообщил он мне по дороге в деревню, что окончил школу и работает как полноправный колхозник.

То, что я из Москвы, заставило ребят особенно пристально вглядываться в поисках чего-то необычного, нездешнего. Фотоаппарат уже привычен, а вот маленький рижский полупроводниковый радиоприемник вызвал восторженное оханье: такого еще не видели.

Колхозный бригадир — высшая власть в этой де-

ревне — повел меня к Петру Наумовичу Чурсанову, где предстоит ночевать.

Хозяин чинил крышу. Но неожиданно стал накрапывать дождь, и по грубо сколоченной лестнице неторопливо сполз дядя лет под шестьдесят. Глаза у него пытливые, высматривающие сквозь очки («с чем явился?»), нос объемистый, как груша или картофелина, во рту всего два передних зуба, а на подбородке густая борода.

Петр Наумович оказался человеком милым, приветливым. Улыбнулся, подал негнущуюся, как дощечка, руку, дубленную много лет на всех северных ветрах, во всех студеных водах, и сразу предложил:

— В избу заходите.

Изба обычная для севера: о две комнаты — кухня и горница с иконами, к которым боязливо и почтительно относится только хозяйка, Ксения Никифоровна. Она тут же захлопотала по хозяйству. Огонь в печи уже прогорел, хозяйка осторожно опытным глазом глянула на раскаленный под, подмела его мокрым веником из сосновых лап и на деревянной лопате посадила «сковородники» — лепешки из ячневой муки и манной крупы.

Разговор шел о деревенских делах.

— Сей год нам магазин порасширили, — сказал Гена, и я сразу вспомнил, что мне, наверное, следует перейти через дорогу и заглянуть в этот магазин.

Когда я вернулся, хозяин, явно смущенный, переминался с ноги на ногу.

— Жалко, хорошей рыбки нет! — сказал он виновато.

Вот те раз: а бригадир мне говорил, что это — лучший рыбак в Белошцелье.

Между тем Ксения Никифоровна несла к столу огромную сковороду, судя по всему, с жареной в смета-

не рыбой, потому что сразу разнесся такой упоительный запах, какого я давно не ощущал.

По-прежнему смущенный, хозяин спросил:

— Карасей ты ешь?

— Жареных в сметане?! — восторженно уточнил я, жадно глядя на сковородку. — Да это же объединение — караси в сметане.

— Ешь? Правда? — обрадовался Петр Наумович и, успокоенный, стал рассказывать: — Я вот тоже их потребляю. В книжке одной вычитал, что карась — рыба съедобная. Я наловил их и засушил два мешка. Так уха из них — одна сласть, ни на какую рыбу не променяю. Ну эти-то свежие.

Наумыч усмехнулся с чувством превосходства, ибо теперь и я подтвердил его мнение о карасях. Он не скрыл и причины прежнего смущения:

— А надо мной в деревне смеются: ест-де болотную рыбу.

Здесь видимо-невидимо семги, по сравнению с которой карась, конечно, не самая вкусная еда.

Наумыч рассказал о своей деревне, вспомнил в качестве достопримечательности местного поэта по прозвищу Пудко-бедняк, на память прочитал его присказки:

«В нашей деревне тридцать три двора. На тридцать три двора три топора, да и те без топорниц. Стояли три подвала, да и их репой разорвало. Столько людей не сгубило, сколько перепачкало...»

Хотя и приятны застольные беседы и всем доставил немалое удовольствие нарисованный мною шарж на Петра Наумовича, я всё старался перевести разговор на прялки. Ведь наконец-то после всех превратностей и неожиданностей долгого путешествия я попал в одно из двух сел, где создавались удивительные прялки.

— У матери где-то валяется! — сказал Гена, и я,

считая, что обряд встречи завершен, решил пойти от одних Чурсановых к другим, благо это через улицу.

Марья Филипповна, мать Гены, сразу развеяла одну из моих надежд:

— В Белощелье никогда прялок не ладили и не расписывали.

Снятую с чердака обычную и хорошо мне знакомую, по типу мезенскую, прялку с конями и оленями она заботливо вытерла тряпкой и пояснила:

— Отец делал, Филипп Иванович Федотов. «Принятым»¹ его сюда взяли. А сам он из Палощелья.

На прялке виднелась дата: «1929 год».

— В эти годы Федотов много прялок писал. А в колхоз вступил — забросил, другая у него работа пошла — в поле. Умер не старым еще, в 1955 году.

Она заметила, что я вглядываюсь в узоры прялки и добавила:

— Работали у нас мастера и получше его.

Другие жители Белощелья, даже самые древние и памятливые, подтвердили слова Чурсановой. Наутро я на моторке уже плыл в Палощелье — единственное место, где производили мезенские прялки.

Происхождение названия деревни объяснили так:

— Тут уж не красная щелья, не белая, а совсем она пропала. Пала щелья, одним словом.

Казалось, красивее должна быть деревня на белом или глинисто-красном обрыве. А и красоты и славы больше у Палощелья, закинутого в самую дальнюю мезенскую глушь. Летом после спада воды деревня почти недоступна. Ни дорог нет сюда от районного центра, ни катера не пропустит обмелевшая река. Искусный речник вниз еще кое-как проскальзывает, кривуляя чуть

¹ То есть в семью жены.

ли не поперек реки по течению, а вверх из райцентра ни на веслах не пробьешься и не найдешь желающих по-бурлацки тянуть бечевой, как делали это раньше. Единственный транспорт — легкие колхозные моторки, когда верховой ветер не окатывает брызгами с головы до ног, да еще случайный вертолет, вроде того, что доставил меня.

А деревня необычна. Даже удивительна. Она отмечена старинной уходящей северной красотой.

Когда подъезжаешь, невольно бросается в глаза одинокая сосна на обрыве. Мезень размывает правый берег, и у подножья небольшого взгорья, поросшего травой, обрушило песок, а на самом краю, обнажив могучие корни, еще удержалась вековая сосна. В те два месяца, когда здесь и весна, и лето, и осень, хвойный часовой набирает силы для долгой, чуть не на весь год зимы.

Рядом обветренное, поглубевшее от морозов здание деревянной церквушки, превращенной в клуб, а чуть подале — баньки и столетние амбарушки на сваях.

Ступите на берег, как я ступил. Здесь можно без всяких декораций снимать исторический фильм из эпохи Ивана Грозного — такие увидите нетронутые уголки. Там, где от берега, чуть подымаясь, вьется тропка к просторным по северному двухэтажным домам с тяжелыми коньками, можно увидеть шестиметровый крест. Он стоит на огороде, за обветшалой изгородью, прикрытый двускатной в три доски крышей.

Неподалеку, тоже в гуще домов, — другой, такой же, как бы забредший со старинного кладбища. Эти кресты — не над могилами, они «обещанные», поставленные в знак какого-либо события. Помню, в другом месте я видел подобный крест. Его поставил местный

житель, имевший шесть дочерей и мечтавший иметь сына. Наследник появился, а затем, по обещанию, счастливый отец собственноручно сладил и установил крест.

Два моих верных помощника, десятилетние ребята — Федя с длинными, как у девушки, ресницами и Миша, вечно рассматривающий бородавки, густо усеявшие его руки, — стали моими проводниками по деревне. В каникулы они оба отдыхали, ловили голавлей на отмели, ходили в лес.

Но, видно, и речка и лес уже изрядно наскучили ребятам; они обрадовались моему появлению и то рассказывали о какой-нибудь старушке, у которой на чердаке завалилась прялка, то помогали найти по приметам («с краю напротив Степанидиной избы» или что-нибудь в этом роде) избу нужного человека.

Старики сообщили мне, что в Палощелье раскраской прялок занимались с незапамятных времен, но с кого начался промысел, никто не помнит.

В этих суровых северных местах люди жили трудно. Обработка дерева и продажа прялок, лукошек, коробов и больших ложек-поварешек являлась приработком, подспорьем в хозяйстве. Обычно ехали за реку в дремучий лес, выбирали несколько подходящих елок и берез, чтобы из одного куска вырезать и лопасть и копыло прялки. Наготовят, «настружат» (то есть вырежут и обтешут) и везут домой. А в осенние и зимние вечера и расписывают. Те, кто провористей, — по пять прялок за день смастерят и украсят, неторопливые же и старательные — по две, а то и по одной. Перед ярмарками работали круглыми сутками. Потом нагрузят воз или два и везут в дальнюю даль — то на Вашку, то на Пинегу, а то и за четыреста верст в Усть-Цильму,

На Вашке зырянки все возы обойдут, пока выберут самую красивую прялку. Учитывают, чтобы и письмо помельче и копыло отличалось прямызнэй, удобством. Березовые прялки ценились дороже еловых. А самые красивые и дорогие делали мастера родным — жене, дочери, сестре. Иногда собирались по три-че-

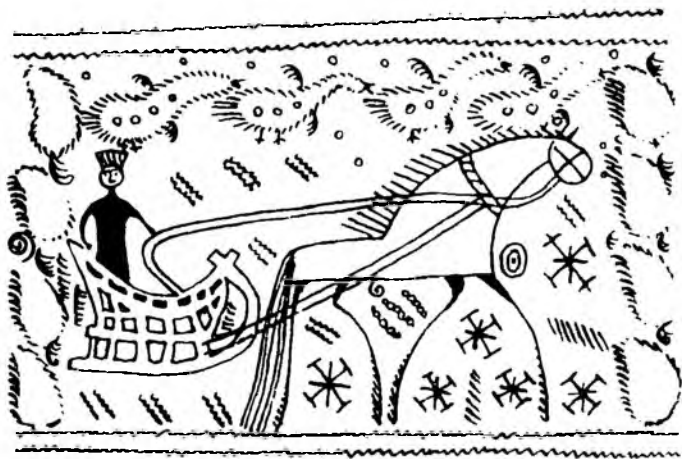


тыре дяди, ставили посреди избы «светильню» с лучиной и рассаживались кругом. Краски в этом случае предоставлял хозяин — ну не ахти какое добро, самодельные. Ребята приучились с малолетства и обычно делали маленькие прялки для девочек, только-только начинающих пряхсть. У таких молодых художников на лопасти помещалось всего два коня и орнамент попроще.

Мастерством в Палощелье славились пять фамилий — Аксеновы, Новиковы, Федотовы, Шишовы и Кузьмины.

Время, когда жил самый старый из Аксеновых, помог мне определить Трифон Иванович Шишов, которому пошел девятый десяток:

— Эт, значит, так: у нас все зверей добывали, и Степа Доронин тоже промышлял, зайцев много бил.



Но всё деревянное делал, всю жизнь на деревянном сидел: и прялки, и короба, и ложки. Прялки для своих — березовые (дороже ценились) — раскрашивал помельче, поподробнее. А на продажу — еловые, и всё пореже красил, покрупнее. Продавать сам ездил на Пинегу, на ярмарку. Маленький такой старичок. А родился он... Дай бог памяти... Филя женился в девятьсот десятом, а Степану тогда семьдесят исполнилось.

Мы подсчитали, что, выходит, родился Степан Дорофеевич Аксенов в 1840 году.

— Наверно, так, — подтвердил Трифон Иванович. — На турецкую войну его призвали, так он пешком ушел. Пятерых сыновей вырастил. Сергей, Дмитрий да Василий прялки нарубят, очистят, а сам Степан с Яковом да Артемьем расписывают. Сыновья лампу зажгут, а он все по-старому — с лучиной.

Трифон Иванович посидел, подумал и добавил:

— С Цильмы обозы шли зимой, везли на Пинегу куропатку, мясо, масло, шерсть, оленьи шкуры. Когда возвращались, покупали наши прялки и везли в Усть-Цильму.

Ребята проводили меня до дома Степана Дорофеевича Аксенова.

Вот здесь, в большом иссиня-сером старом доме с красивым коньком, которого сейчас почти заслонила постройка из ослепительно желтых бревен, с 1840 по 1910 год жил по всеобщему признанию самый плодовитый мастер Палощелья. Шутили старики: «Семья большая — экое место леса извели». Но поминали с уважением и мастерство ценили.

Брат Степана Дорофеевича — Василий — не только славился мастерством, но его вообще считали удачливым, говорили, что во всем ему везет. Дочь Василия Дорофеевича — высокую, полную, румяную — называли «хвалёнкой», то есть люди хвалили ее по всем статьям. На местный протяжный мотив пели про Василия Аксенова частушки:

У Дорони-молодца,
Горит сердце и душа,
И девица хороша...

Про других Аксеновых палощельцы рассказывали скупее, да и не столь почтительно. Жил и красил прялки Кир Аксенов, но он умер еще до первой мировой войны, а сын его Матвей, хоть и писал, но мало: с фронта вернулся без руки.

Правда, у одного скульптора в Москве, летом обычно путешествующего по Северу, я видел прялку работы Матвея Аксенова. Узоры он выводил смело, а вот когда приходилось писать цифры, они с непривычки получались у него перевернутыми, как в зеркале.



Удалой охотник Фирс Аксенов славился не столько достоинством раскраски, сколько тем, что, отправившись на ярмарку на Вашку, быстрее всех умел расторговаться: все сбудет — и прялки, и лукошки, и ложки, и поварешки. У Филиппа Аксенова ремесло,

как говорили, «из рук не выходило», хоть он числился ямщиком и держал пару коней для почты. На прялках изображал коней, оленей, а также петухов и других птиц. Яков Аксенов, или, по-деревенскому, «Якуныка», расписывал неказисто: до денег жаден, на работу скуп, он всегда торопился и даже оленей не писал — нарисует трех коней и ладно, а сверху да снизу крестов наставит. Зато вывезет на ярмарку и языком бойко действует — так нахвалит, что живо сбудет.

Рассказывали еще про одного Аксенова — Егора Михайловича, но это уже не в похвалу мастерству, а для смеха. Егор расписывать не научился — всё больше приторговывал. Наберет в Палощелье лубянок, чаш, прялок, нагрузит два воза и едет продавать. Однажды в 1919 году отправился в Пинегу, а там его и забрали как спекулянта. Егор — мужик сметливый, вынул старую справку, что обрушилось на деревню стихийное бедствие, сгорело двадцать два дома. Добавил ловчило к справке, что он едет за материалами, а чтобы не идти порожняком, захватил деревянные поделки от погорельцев.

— Не то бы несколько миллионов штрафа! — закончил тот, что рассказал мне эту историю.

Впрочем, в экспозиции Загорского музея есть одна его работа. Роспись традиционная, с конями и оленями, но приписка, сделанная на обратной стороне, необычная. Егор Аксенов сообщал, что прялка сделана в 1921 году именно им, Егором Аксеновым, по особому заказу для жителя деревни Едома (недалеко от Лешу-конья) и что «цена прялки 20 фунтов хлеба».

Красивым рисунком отличался Прокопий Семенович, старейшина другой фамилии — Новиковых. Умер он восьмидесятилетним, году в 1937-м. Его хорошо помнили — почтенного, седобородого, удачливого охотника на пушного зверя и лосей. Умел он вырубить прялку, вырезать ложку, выточить чашку, сам же и расписывал. Один из очень немногих изображал коней не только на прялках, но и на крышках лукошек и коробов.

В Загорском музее увидел я потом его прялку с надписью на оборотной стороне:

«1908 года № 26 работал Прокопий Семенов господин Новиков. Цена 30 копеек. Прялка прочная. Будешь держать и помнить».

И тут же сделанное несколькими штрихами собственное изображение: бравый мужчина с трубкой.

Старики рассказывают, что существовала такая мода — помещать изображение мастера.

Интересной особенностью манеры Прокопия Новикова являлось то, что внизу лопасти, у ножки, он любил рисовать двух коней «на дыбках».

Многие в Палощелье говорят добрые слова о сыне его Афанасии Прокопьевиче (1890—1952). Сестра Марина не только похвалила его за унаследованную от отца красоту рисунка, не только рассказала, как он расписывал у себя дома рамы, «чтобы красоту на-

вести», но вытащила откуда-то и память о нем — прялку и лукошко, так что можно судить и о характере его росписи.

Видно, мастер этот любил крупный рисунок и достаточно набил руку. Отдельные детали располагал со вкусом, старался ничего сложного не давать. Оленей он не писал, а коней у него три, а не четыре. Элементы росписи оригинальны: под обычными парными треугольниками шла еще полоса необычных треугольных же рубчиков с каемкой, а затем, явно взятые с традиционной мезенской росписи лукошек, две простые розетки из четырех лепестков в виде капель, а меж лепестками черные черточки. Рисунок на обороте, где обычно проявляется фантазия автора, не очень щедрый: горка, а на ней дерево с голыми ветками и пышной вершиной.

Нужда заставляла этого мастера торопиться.

В противоположность ему Новиков Гаврила Васильевич (сын Василия Петровича — тоже неплохого мастера, умершего еще в 1912 году) писал мало, но старательно, прорисовывая интересные подробности, и уж не упускал возможности дать над рядом коней (конечно, не из трех, а из четырех фигур,) еще и ряд оленей.

Помнят из Новиковых еще Матвея Васильевича, а некоторые даже утверждают, что роспись его на прялках мельче и изящнее, чем у Гаврилы Васильевича. Но из всех прялок, которые я видел в Палощелье, и из того десятка, который я вывез оттуда, нельзя с достоверностью ни одну приписать Матвею. А ведь есть у меня безымянные чудесные росписи.

Двое братьев Новиковых — Евдоким и Никифор Елисеевичи — расписывали только лукошки и не ре-

шались братья за прялки. Но лукошки и коробыя получались по всем мезенским традициям.

Одного из Новиковых — Ивана Григорьевича — я еще застал в живых. Росписи он научился в семнадцать лет от деда Василия Петровича и от дяди — старательного мастера Гаврилы Васильевича.

Вспомнил Иван Григорьевич:

— Дядя-то не любил подсказывать. Тогда ведь не только мастера-красильщики, а и плотники друг другу секретов не открывали. Своим умом доходить следовало. Вот я и смотрел, как люди делали. Иной раз еще дедко чего путное скажет. В прежние времена оленей писали, а потом перестали. По-старинному и куриц помещали, а потом не стали — все, чтобы поскорее. Торопыги!

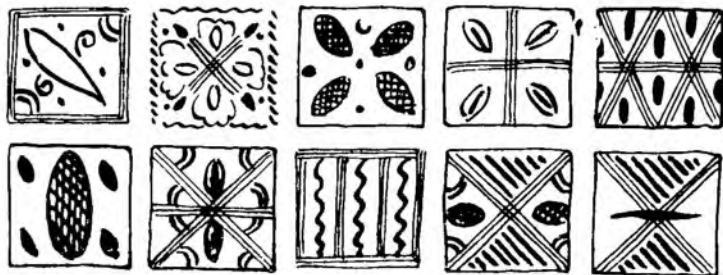
На своем веку Иван Григорьевич расписал сотни прялок. Еще и сейчас, когда ему перевалило за семьдесят, он взял карандаш и легко нарисовал на листе бумаги оленя и коня: видно, темы эти хорошо ему знакомы.

Когда поминают палощельских мастеров, часто называют фамилию Федотовых. Но тут надо разделить хорошее от незначительного.

На краю села жил Александр Дмитриевич Федотов, специалист по деревянным чашам. Вытачивал и олифил он посуду простую, без рисунков; Филипп Иванович только плотничал, рубил прялки, а раскрашивать отдавал другим.

Мастерство Алексея Михайловича считалось не лучшим: этот Федотов торопился побольше наготовить на продажу, так же как и Григорий Филиппович.

Есть у меня одна прялка Г. Ф. Федотова. Сначала я написал о его работе не очень лестно: «И кони — мезенские, и «курочки» есть, и положенные по обы-



чаю другие узоры, но видно, что мастер все делал без любви, без радости, лишь бы скорее отвязаться, сбыть ненавистную работу с рук, продать кому-нибудь». И хотя на обороте Григорий Филиппович Федотов изобразил красного коня у красной елки, расписался и поставил дату: «14 XI—1926 года», — невольно рука добавила и... цену, которую он хотел получить.

Но когда я присмотрелся к узорам, которые Григорий Филиппович помещал в квадратах, я поразились их многообразию, сложности и оригинальности. Вот они — на этой странице.

Только один из Федотовых удостоился среди односельчан славы большой и заслуженной — это Василий Клементьевич, более известный под именем Васи Климовича. Расписанные им прялки он почти всегда помечал своими инициалами: ВКФ. Таким образом, авторство его достоверно.

Рисовал Климович не попросту, не следуя только традиционному рисунку, а по-своему — затейливо, с выдумкой.

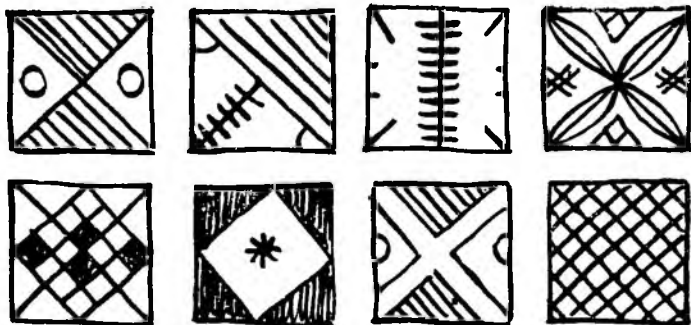
Я видел несколько прялок Васи Климовича, а две самые интересные и красивые привез с собой.

Этот мастер не спешил, расписывая, не делал кое-как, лишь бы сбыть на ярмарке: он обязательно на

лицевой стороне лопасти помещал в два ряда оленей и коней и не скупился — по четыре и по пять, а не по три в ряд. Иногда на всех коней сажал всадников.

У одной из трех прялок, что я захватил в Москву, на лицевой стороне, кроме обычных оленей (их пять) и коней (четыре), мастер изобразил на конях черных всадников, внизу у черенка дал еще трех коней, на том же месте на обратной стороне — трех оленей, а в центре оборота, там, где ловкачи и выжиги оставляют пустое место (все равно, мол, из-за кудели не видно), Климович поместил интересную жанровую сценку: на черном по-мезенски написанном коне всадник в фуражке и с плеткой в руках, а впереди традиционный красный конь.

У Климовича узорочье более русское, чем у кого-либо из мезенских мастеров-художников. Он не дает, как некоторые торопыги, однообразные клетки с наименьшим числом красных пятен и черных штрихов. На одной прялке (той, где черный всадник, подгоняющий красного коня) у него восемь разных узоров клетки. Девятую я увидел на другой его прялке.





Так щедро тратить свой талант мог только настоящий художник, для которого создание прялки — не ремесленная поделка, а произведение искусства, в которое вкладывают все способности, весь творческий опыт, все горение души.

Таким художником по призванию и являлся Климович.

Особенно интересны у него вольные композиции на оборотной стороне прялки, где мастер свободен от обязательных, канонических узоров и может дать волю фантазии. О сюжете одной я уже рассказывал. На другой прялке, помеченной 1894 годом и инициалами ВКФ, вертикальный ряд красных курочек делит среднюю часть лопасти надвое. Слева клетчатый черный конь, справа кудрявое черное дерево с завитками, напоминающими узор старинной русской скани, и с черными птицами на ветвях. Восемь таких же птиц выстроены в ряд над деревом, а горизонтальные ряды красных курочек обрамляют рисунок сверху и снизу.

На прялке, принадлежащей Аксины Герасимовне Шишовой и помеченной теми же инициалами и датой «1897», народный художник изобразил посередине черную ель, а по бокам двух черных коней.

Климовича хорошо помнят в Палощелье, как он работал, как интересовался тем, что сделали другие. Зайдет, посмотрит и искренне скажет:

— Дивно!

Про тех, кто ловчил намалевать побольше, говорил презрительно:

— Ну, этот провидоха!

И внучка о нем отозвалась ласково:

— Хороший дедушка был, приёмчивый, рыбой промышлял, так уж кто придет — примет: и семгой, и хариусом, и всем угостит!

Видно, добрые качества человека каким-то образом все же сказались на его произведениях.

Зятем Климовичу доводился Афанасий Иванович Шишов — личность для Палощелья во многом примечательная.

Лесник по основной своей профессии, три с половиной десятка лет проводивший на этой работе, он лишь изредка занимался резьбой по дереву, изготовлением различных обиходных деревянных вещей — прялок, лукошек — и раскраской их. Чаще всего он мастерил прялки для родни, а не на продажу, поэтому не торопился, старался, соблюдая все традиционные требования в расположении узоров, прибавить еще что-нибудь и от себя.

Со стены сняли старую фотографию — до того выцветшую, что ее нельзя даже воспроизвести. Однако характер лица ясен: сразу можно сказать, что человек это спокойный, добрый, приятный.

Видимо, этот народный художник (он родился примерно в 1865 году и умер семидесятилетним 8 января 1935 года) обладал немалыми художественными способностями.

Дочь его, Ирина Афанасьевна, рассказала:

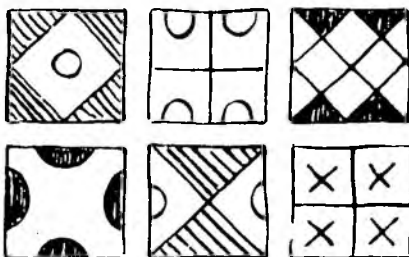
— У лесного объездчика вся жизнь в лесу. Весна настанет, вода скроется — отец уходит в лес, и иной раз до осени его не видно. А то придет, попарится в бане и снова в лес. Резать из дерева он умел: и прялки

сам вырезал и катки. У нас здесь катки длинные любят, с большими кружками. А он еще кривульки и шахматки вырежет для красоты. Осенью и зимой между делом и мастерил. А игрушки, деревянных коней, на сенокосе ладил. Жаль вот, помощников не имел, потому и не научил никого: дочь я у него одна, а шесть сыновей интереса к мастерству не проявляли.

Порывшись в немыслимом хламе на чердаке, копившемся не один десяток лет, извлекла красивой стати деревянного коня, вырезанного из березового коreshка и покрашенного черной краской. Кто-то из семьи помнил, что это была очень красивая игрушка, когда дедушка Шишов только что вырезал ее. Стоял конь на тележке с колесами, ножки прочно вдолблены в досочку. Из конского волоса связан хвост. На коне сидел всадник, который, к глубокому моему сожалению, не сохранился (так же как и хвост и морда). Но и в том состоянии, каким он дошел до нас, конь казался красавцем.

А вслед за конем отыскиали и прялку. Да такой красоты, что я ахнул. Ничего подобного ни по форме, ни по росписи не довелось мне видеть ни в мезенских селах, в том числе и Палощелье, ни даже в московских музеях. Не прост силуэт прялки, а как-то по-старинному, по-русски красив: лопасть широкая и не с обычными четырьмя, пятью или шестью глазками-маковками на верхушке, а с закругленным прорезным узором. Видно, мастер отлично знал все мезенские элементы росписи — и коней, и оленей, и курочек, и «бёрдо» — решетку, ряд клеток, названных так по сходству с одноименной принадлежностью ткацкого стана. Но располагал он их по-своему, и первое отличие его стиля — это щедрость. От того, что в ряду у него не три коня, а вереница из пяти, создается впе-

чатление стремительности движения. А когда над мчащимися конями несется такая же вереница оленей — впечатление еще усиливается. Своеобразны и клетки в «бёрде».



Можно отметить, что у Шишова нет здесь ни одного узора, совпадающего с теми, что применял другой первоклассный палощельский мастер — Василий Клементьевич Федотов.

Это либо диагональные крестики в разделенном на четыре части квадрате, либо квадрат, расчерченный диагонально на четыре квадратика и восемь треугольников, либо диагонально или прямо деленный квадрат с круглыми скобками, либо светлый квадрат в темном, где в центре в свою очередь кружок.

Казалось бы, не так уж и трудно придумать подобные узоры, но, судя по всему, заимствовать «чужое» в Палощелье считалось недопустимым, и каждый мастер старался быть самобытным в создании узоров, окружающих обычные ряды коней и оленей. А сделать это не так-то легко: ведь оперировать приходится только крестиками, кружками и скобками.

Самое неожиданное, однако, оказалось на обороте прялки, там, где обычно мастер рисует свое заветное. Шишов, судя по рассказам, расписывая прялки, изображал и коней, и оленей, и коня, запряженного в сани, и дерево с двумя птицами.

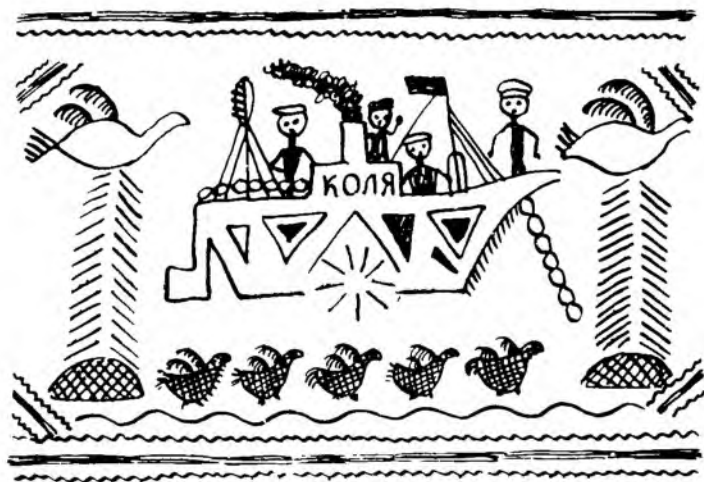
На обороте прялки, которую показала мне Ирина Афанасьевна, народный мастер поместил... пароход.

Поведали мне и историю появления этого рисунка.

Прялка сделана в 1919 году, о чем стоит пометка на копыле, то есть той части, на которую обычно усаживается пряха. Незадолго до этого приехала женщина с реки Выи, а на прялке у нее пароход. Афанасий Иванович увидел это и решил сделать дочери прялку с таким же украшением. Но, судя по всему, это не просто копия, а Шишов рисовал и по своим наблюдениям.

Изобразил он колесный пароход — из трубы дым валит, видна цепь якоря, а возле руля — другая цепь. На самом верху — капитан, пониже — три матроса.

Когда подошло время писать название парохода, Афанасий Иванович посмотрел на вертевшегося возле младшего сына — шестнадцатилетнего Николая — и вывел над колесом: «КОЛЯ».



После этого прялки с пароходом стали в Палощелье пользоваться успехом, но делали их не часто, так как требовало это особого умения, да и времени на них приходилось тратить много.

Не знаю, то ли зависть вдруг заговорила, то ли и в самом деле есть тут доля правды, но только Иван Григорьевич Новиков, услышав мой рассказ о шишовской прялке с пароходом, промолвил:

— Эка невидаль. У нас и до Афони так расписывали.

Но о мастерстве Шишова все же отозвался с большой похвалой.

Однажды, уставший после хождения по деревне, после розысков и расспросов, я сидел у окна в доме, где ночевал, — в общем-то в случайном месте, куда попал, приехав на моторке из Белоощелья. Мимо прошел худощавый высокий старик с черными усами вразлет. Искося он глянул на меня, остановился, вернулся к окну и заговорил:

— Здравствуйте. Говорят, вы из Москвы?

— Из Москвы.

— Прялками интересуетесь?

— И это верно.

— Так ведь я могу прялки расписывать.

— Да ну?

Я даже привскочил от удивления. Несколько дней расспросов о палощельских мастерах, и все как-то получалось, что один народный художник умер сорок лет назад, другой — двадцать, третий — тоже примерно так же, а остальные, после того, как образовался в селе колхоз «Дружба» и у местных жителей появился устойчивый сельскохозяйственный заработок, перестали делать и расписывать прялки. Об искусстве палощельских художников все говорили только в про-

шедшем времени. Лишь один семидесятилетний Иван Григорьевич Новиков попробовал было нарисовать карандашом на бумаге коня и оленя, но, сказать по правде, хоть и помнил рисунок, все же рука у него изрядно дрожала.

И вдруг появляется мастер, который сообщает, что он и сейчас может расписывать прялки! Было чему удивляться и радоваться!

Так познакомился я с Иваном Васильевичем Кузьминым. Подобно тестю своему, Афанасию Ивановичу Шишову, он всю жизнь работал лесным объездчиком и только осенью и зимой, когда наступала пора вынужденного безделья, брался за прялки. Видимо, превосходный мастер Шишов сумел передать мужу своей дочери уважительное отношение к искусству.

Иван Васильевич рисовал не только коней, но и сленей, и делал это, судя по прялкам его работы, очень старательно.

Мы условились с Кузьминым о встрече на следующий день, и мои помощники Федя и Миша взялись проводить меня туда.

Жил Иван Васильевич немного на отшибе, в сгоне от главной улицы.

Но идем мы все-таки центром. Вот здесь, в большой старой избе с красивым коньком, полстолетия назад жил самый плодовитый мастер — Степан Дорофеевич Аксенов. Возле большого креста — изба Михаила Алексеевича Новикова, мастера по коробам и лукошкам. Возле моста, или, как в Палощелье говорят, «у ручья», дом Афанасия Ивановича Шишова, того, что стал на прялках рисовать пароходы. От огородов тесно не так уж далеко и до огородов зятя — Ивана Васильевича Кузьмина.

Его изба по-северному большая, высокая, с покатым бревенчатым настилом, чтобы можно было сено завести прямо на сеновал.

Иван Васильевич долго рассказывал и о тех мастерах, которых застал в зрелом возрасте или старости, и о сверстниках, умерших и уехавших. А когда зашла речь о традициях в росписи, о том, что почиталось обязательным и лучшим в рисунке, Иван Васильевич вдруг сказал:

— А знаешь што? Есть тут у меня стара негодна прялка. Курицы ее засидели, рисунок скрылся. Я почищу рубанком да с самого начала и покажу, как, бывало, все мы разукрашивали по-палощельски.

Я с радостью согласился: чего же мне еще желать?!

Хозяину и самому эта мысль прилась по душе. Он засуетился, стал искать разные инструменты, краски, перья. Подбадривая себя, все повторял:

— Я ведь молодой-от ходкбй был!

Но не так-то легко оказалось ему собрать все живописное хозяйство после того, как он пятнадцать лет не брал в руки кисти.

Прялка с янтарно-желтой поверхностью старой сосновой доски уже лежала на столе, задрав кверху потемневшее от времени, вытесанное из корня копыло.

Иван Васильевич, размышляя вслух, бормочет:

— Стаканчик ломанный у меня в избушке был.

И посылает сына:

— Поди-ка, Кеша, он у меня на приступочке стоял.

Кеша вприпрыжку убегает и через минуту появляется снова с полущелым стаканом, на дне которого виден черный отстой.

— А красная где? — вспоминает хозяин.

— На блюдечке была, — подсказывает хозяйка, по местному цокая.

Находится и красная краска.

Теперь дело за кисточкой, или, как ее называют здесь, «тиской». Все Кузьмины хором говорят, что она за окном. Иван Васильевич поясняет, кивнув на сына:

— Малярил парень без толку во всяком месте, красками пацкал, вот я и выбросил.

Впрочем, если бы «тиску» и не нашли, сделать ее нетрудно: материал всегда под рукой — прядь собственных волос.

Трудней всего оказалось решить проблему пера. Ведь все черточки черной краской рисуют... гусиным пером, таким же, какое было столь популярно в пушкинскую эпоху.

Призадумался Иван Васильевич: как же быть? Гусиное-то перо — роскошь. Чаще пользовались глухариными. Кузьмин вспомнил, что недавно подстрелил глухаря. Но сколько не искали по запечьям и углам — не нашли. Теперь задумалась хозяйка:

— У кого на селе махало из глухариного крыла?

Снова гонцом Иван Васильевич послал Кешу. Видно, обегал он немало дворов, потому что ждали его изрядное время, но все же он вернулся с трофеем, запыхавшийся и радостный:

— Вот!

И протянул отцу перо.

Иван Васильевич отточил его, как, наверное, точил Пушкин, Глинка или Тропинин, и сел к столу у скна. Сел медленно, торжественно, считая, что приступает к делу необыкновенной важности. Видимо, он решил обстоятельно объяснить все, что предпринимает, потому что, как только сел, сразу сказал:

— Сперва на кружочках курочек садишь. Потом тиской дорожку проводишь, другую и бёрдышко делаешь.

Он нарисовал курочек, провел горизонтальные красные линии, делящие площадь лопасти на «этажи».

— Опять курочек садишь и маленькое бёрдышко делаешь.

В середине верхней части Кузьмин нарисовал красной же краской решетку, не доведя ее до краев.

— Потом длинное бёрдо.

На сей раз решетка протянулась через всю плоскость — от правого до левого края.

— А там уже стадо оленей!

Уверенными движениями рук Иван Васильевич вывел четыре пятна, изображающие туловища оленей, а под ними точно так же пятна — туловища коней.

Вслед за тем он прочертил еще одно длинное бёрдо, а внизу в опрокинутом трехугольнике у палки появилось еще одно красное пятно для будущего коня, стоящего на дыбках.

Несколько поперечных и диагональных полосок — и украшена стойка, соединяющая лопасть с копылом.

После этого наступает время черной краски и оконтуривания. Тиска отложена в сторону; Иван Васильевич берет очиненное глухариное перо и обмакивает его в черную краску.

— Таючей серой сажу разводим, — объясняет он.

Я помнил, что у С. Максимова в его описании путешествия в прошлом веке по печорским и мезенским местам рассказывается, что переписчики древних староверческих книг пользовались именно такими красками: для черной брали сажу, для красной — красную глину (если не посчастливилось достать сурик) и разводили эти краски на воде, добавляя «таючую серу» — смолу лиственницы. Идет время, многое меняется в жизни, а техника составления красок как была в позапрошлом и прошлом веках, так осталась и в наши дни.

Иван Васильевич привычно оснащал «курочек» пёрышками — черточками с завитком, волнистой линией подчеркивал поперечные красные полосы, заканчивал бёрда, добавляя то, что необходимо для традиционного орнамента, рисовал у коней гривы, хвост, ноги, а у оленей ноги и ветвистые рога.

Накладывая красную краску, мастер держал в памяти всю роспись, и теперь завершал ее, касаясь глухариным пером там, где это следовало сделать.

Орнамент создавался главным образом черным кружевом кружочков и черточек.

А когда последовательно прошелся пером сверху донизу, он отложил прялку:

— Все!

И действительно, не потребовалось ни добавлений, ни исправлений: ведь узор известен наизусть. Только изображать его надо легко, сочетая разные элементы, — и в этом проявляются художественные способности мастера.

Подобных узоров сделаны сотни, а наиболее плодотворными мастерами и тысячи. Все прялки похожи, но нет двух, точно повторяющихся.

Прошло несколько месяцев с тех пор, как я побывал на Мезени. Уже поблекли впечатления от поездки, но все же я рассказывал друзьям, как на моторке палощельского колхоза «Дружба», отправившейся в районный центр за запасными частями к тракторам, десять часов плыл вниз по Мезени до Палощелья. Как потом по воде же добирался до Каменки, порта, куда заходят морские пароходы, и на «Юшаре» — ветеране морского флота — плыл в Архангельск, а от туда поездом мчался в Москву.

Итак, прошло несколько месяцев. Я шел по улице Герцена.

Впереди, выстукивая каблучками, куда-то торопилась девушка. Красно-черный узор на ее белом платье показался мне знакомым. И тут же одна мысль — «знакомый!» — догнала другую — «мезенский!»

Я поравнялся с девушкой и с любопытством стал разглядывать ее платье.

Вот ряд красных коней с черными полосками гривы, с забавными паучьими ногами, с прямыми линиями хвоста. А вот красные «курочки» с черным оперением. Вот малое бёрдышко, вот большое бёрдо — точь-в-точь, как делал его Вася Климович. А этот квадратик — точная копия с одного из узоров Филиппа Шишова, автора прялки с пароходом.

— Девушка! Милая девушка! — взмолился я. — Где вы покупали этот материал?

— Сумасшедший! — ответила осторожная девушка, решившая, видимо, что мой вопрос — довольно неуклюжий способ завязать знакомство.

Но потом улыбнулась:

— В магазине «Ткани» — вот где. Точнее: на улице Чайковского.

Она засмеялась и свернула в переулок.

Я побывал в двадцати текстильных магазинах Москвы. И на улице Чайковского. И на ярмарке в Лужниках. И на Горького. И во многих других местах. Ткани с красными конями нигде не оказалось. Кое-где сказали:

— Было. Раскупили.

А полки в магазинах завалены мануфактурой. Значит, покупатели брали то, что нравилось, что отвечало их эстетическим запросам, их вкусам. И ткань с палощельским узором, с красными конями и решетками-бёрдами понравилась. И девушки носят платья, не зная, откуда появился узор.

С трудом я нашел эту ткань в магазине на Ломоносовском проспекте.

Какой это великолепный ответ тем, кто свысока относится к народному искусству и неспособен связать когда-то созданные народом узоры с сегодняшним днем. Исчезли прялки как предмет, ушедший из быта. Но не ушло искусство. В чем главный и радостный смысл того, что красных коней можно увидеть не только в Палощелье, но и в Москве, Ленинграде, Владимире, в маленькой деревне под Костромой или Хабаровском? В том, что искусство, созданное народом, — бессмертно.

Это не кажется громкой фразой, потому что здесь — правда жизни.

ЛЕВ ИЗ ТОТЬМЫ



ДИН приятель, знаток Севера, писатель К. Коничев, прислал мне карту Вологодской области.

На полях я увидел пометку:

«Вот места, где густо сохранились северные древности быта».

И синим карандашом обведены названия городов и сел. Самый большой знак — вокруг Тотьмы.

Этого оказалось достаточно, чтобы я «заболел» Тотьмой.

К поездке стал готовиться еще с зимы: запасаюсь подробной картой, прочитал все, что возможно, об этом старинном городе, ровеснике Москвы. До революции Тотемский уезд считался дикой окраиной, местом ссылки. Отбывали ее здесь Потанин, Лавров, Луначарский, какое-то время прожил Короленко. Известный публицист Шелгунов, тот, что познакомил Ленина с Бабушкиным, писал об этих краях в своей очерке «Провинция», что всюду — натуральное хозяйство, люди живут в темноте, невежестве. Все производят сами для себя, ничего не продают и почти ничего не покупают. Носят домотканое, ходят в лаптях, питаются тем, что пошлет поле, лес да скотинка. Шелгунов не без иронии писал, что тотемцы, в сущности, «люди Петра Первого».

Но я знал и о том, что в этих местах любят красоту, читал о необычной росписи домов.

С собой в дорогу я решил взять небольшую книжку писателя прошлого века А. Писемского с расска-

зом «Питерщик». Ведь земли Чухломского уезда Костромской губернии, описанные там, соседние с нынешним Тотемским районом, и в рассказе встречаются упоминания о красивых домах.

В первой же деревне, отмечает Писемский, «вам кинется в глаза большой дом, изукрашенный разными разностями: узорными размалеванными карнизами, узорными подоконниками, какими-то маленькими балкончиками, бог весть для чего устроенными, потому что на них ниоткуда нет выхода, разрисованными ставнями и воротами, на которых иногда попадаются довольно странные предметы, именно: летящая слава с трубой; счастье, вертящееся на колесе с завязанными глазами; амур какого-то особенного темного цвета и проч.

Если таких домов два или три, то прихоти в украшениях еще больше усиливаются, как будто хозяева стараются перещеголять в этом случае один другого...».

Писемский сообщил и о том, что «дуга по золотому фону расписана розанами», и о цветах на потолке в избе, выполненных, правда, по трафарету, и привел слова одного из «красильщиков», что мужики, которым «копейки здесь не на чем заработать», вынуждены уходить для заработков «на чужую сторону». Мальяр Клементий, с которым разговаривал Писемский, рассказал:

«У меня дед, помер он на сто седьмом году, я еще тогда был малый ребенок; однако же помню, как он рассказывал, что еще при Петре-государе первые ходки отседова пошли: вот когда еще это началось. А теперь уж нас, прямо сказать, от этого промысла не отучишь».

Отметил я слова Клементия:

«И таким манером я в Тотьму сходил благополучно. Воротился домой. Барин у нас тогда дом отстраивал. «Возьми, говорит, Клементий, внутреннюю отделку на себя». Я не перечил, взял...».

В известном альбоме А. Бобринского «Народные русские деревянные изделия»¹ помещены четыре фотографии внутреннего вида крестьянских домов Тотемского уезда. Две из них — результат поездок И. Починовского в 1911 году, а другие две сделаны известным художником, превосходно изображавшим старую русскую жизнь, И. Билибиным. Видно, что украшены подпечье, поставец, деревянная перегородка, низ кухонного шкафа, двери. Характер букетов, вытянутых вверх, и цветов, обведенных белилами, и фигура женщины, и лев, написанный простодушно и смело, в старинных русских традициях, — все говорило о художнике своеобразном.

В альбоме указывается и адрес: деревня Исаково, Еденьгской волости, на Кокшеньгском тракте, дом крестьянина Ильи Комарова. На другой фотографии (где, к сожалению, адрес не указан) можно хорошо различить подробности росписи поставца — пышная ель, а по бокам подпись, где удастся разобрать только дату: «1875 года 1 Июлия» и слова: «Красил... волости...». Четыре остальных слова, самое интересное, — очевидно, подпись автора, — на фотографии неразборчивы.

Я написал в Тотьму: уцелел ли этот сказочный дом с росписью? Может быть, еще красуется лев с пышными букетами цветов? А вдруг да в семье Комаровых сохранился рассказ о том, кто и когда распи-

¹ А. Бобринский. Народные русские деревянные изделия, М., 1910—1912, таблица 94.

сывал дом? Письмо мое с планом дома Комаровых, сделанным по фотографии, вызвало, однако, ответ безрадостный. От росписи и следа не осталось, и в доме живут другие люди, которые ничего интересного поведать не могут.

Перед самым отъездом заглянул я в отдел периодики библиотеки имени Ленина и перелистал комплект районной газеты. Одну заметку выписал. Она определяла условия, в которых мне предстояло передвигаться по району.

Собственно, ее даже заметкой нельзя назвать, просто инженер-инспектор по дорожному хозяйству извещал:

«На основании решения исполкома райсовета от 29 марта 1961 года, в целях сохранения дорог от разрушения в период весенней распутицы, с 10 апреля по 25 мая 1961 года запрещен проезд грузовых автомобилей, транспорта всех марок и других самоходных машин и механизмов по всем дорогам района».

В Тотьму я попал после рокового срока, но, к моему величайшему огорчению, дороги по-прежнему находились в состоянии почти непроезде.

Когда я говорил некоторым тотемцам, что собираюсь в южную часть района, они с сомнением качали головой:

— Не осилите.

Но я и мой спутник осилили. Мы объезжали самые опасные места по кочковатым таежным обочинам, по кустарнику, благо «козлик» прыгал бойко и даже оправдывал кличку «вездехода».

Спутник у меня оказался надежный.

За две недели пуд соли с человеком не съешь. Но две недели поездок по району, когда ухабистые пути, не помеченные даже самой тонкой линией в дорожном

атласе страны, выматывают до изнеможения; завтраки чуть свет и поздние ужины в закусочных сельпо; совместные беседы с председателями колхозов, парторганами, косцами на поле, трактористами; долгие разговоры по душам на вольные темы в полумраке июльских северных ночей где-нибудь на нарах лесоучастка — все это стоит пуда соли.

Я ездил по Тотемскому району с интересным человеком — первым секретарем райкома партии Иваном Григорьевичем Соколовым.

О его прежней — дототемской — жизни я узнал случайно в связи с историей одного учителя рисования.

Некоторые учителя (как, впрочем, и врачи, агрономы, зоотехники), отбыв положенный по закону срок после окончания вуза, уезжали либо в столицу, либо в большие города. А вот этот учитель сразу же по приезде заявился в райком: «Где мне жить? Чемодан в машине, машина у подъезда». И смотрит на секретаря так, будто ответа ждет, что с жильем трудно, комнаты пока нет. Тогда скажет: «Ах, не можете обеспечить специалиста жильем? До свидания, я тут не при чем — уезжаю».

Соколов посмотрел на приезжего учителя спокойно и сказал:

— Очень рад, что приехали. Такие люди, как вы, нам нужны. Большая у вас семья? Квартира нужна или комната?

Учитель рисования смутился:

— Я один.

Соколов продолжал:

— Значит, комната? Отлично. Через десять дней сдаем новые дома — одна из комнат там — ваша. А пока, чтобы чемодан не лежал в машине, снимите не-

надолго комнату у каких-нибудь пенсионеров, у нас это нетрудно.

История кончилась тем, что учитель рисования стал работать в школе, поселился где-то по соседству у старичков-пенсионеров и от комнаты в новом доме отказался: «Что, говорит, я там делать буду: дрова самому заготавливать, печь самому топить, стряпать самому. А тут как у Христа за пазухой».

Секретарь райкома часто потом встречал его на собраниях и конференциях и иногда шутя спрашивал:

— Квартира еще не нужна?

И оба они смеялись.

А ведь мог бы рассказать Иван Григорьевич Соколов, как сам он приехал в Тотьму и как пришлось ему довольно долго ночевать в служебном кабинете на райкомовском клеенчатом диване.

Одиннадцать лет летчик-истребитель капитан Соколов исполнял не очень-то легкую и безопасную работу. Сражался на Халхин-Голе, участвовал в боях на 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах Великой Отечественной войны, помогал освобождать от гитлеровцев Варшаву и Вену, Будапешт и Белград, был ранен, не раз лежал в госпитале. И сейчас, если ветер отбросит прядь волос со лба, виден большой шрам. А после демобилизации Иван Григорьевич Соколов, повидавший блеск западных столиц и испытывший удобства больших городов, всё-таки вернулся в родную Вологодчину.

К партийной работе его давно тянуло. Он начал с пропагандистской деятельности, учился в Высшей партийной школе, и вот уже пять лет как стал секретарем в Тотьме. Зимой путешествует в машине, одевшись потеплее, а летом — в издавшем виды плащике, на-

двинув широкополую соломенную шляпу, он на водометном пароходике «Лесков» отправляется по Сухоне в прибрежные колхозы или на «козлике» колесит по лесным дорогам...

Как-то разговорились мы об искусстве, и не только о современном, но и древнерусском.

Утром, случайно зайдя в одну из изб, обнаружил я удивительное произведение XV или XVI века — довольно большой образ архангела Михаила. Хозяина дома Павла Константиновича Антуфьева не оказалось — с рассветом ушел на сенокос. Хозяйка, уже не молодая, приветливая и говорливая колхозница Галина Николаевна, охотно вынула образ из божницы. Сразу стало видно, что он не на избу рассчитан, а находился в какой-то часовне или церкви. Внизу, примерно на четверть, отпилено. Я спросил, почему это.

— А не лезла икона в божницу, вот мужик-то и отпилил. Она ведь из лесу, из дальних скитов.

— Где же отпиленный кусок?

— Спалили в печке. Давно уж.

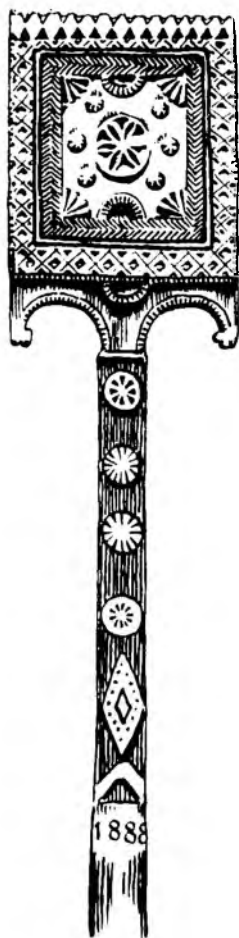
Уговорить старушку отдать икону стоило немалого труда, но чуть позже я все же шел к машине, держа драгоценность, завернутую в газету.

Соколов, который любил литературу и к писателям относился уважительно, посматривал на меня не без удивления.

Вечером мы поговорили обстоятельно.

Иван Григорьевич сначала совсем не принял предложения, что древняя икона — это произведение искусства.

Что мог, я рассказал Соколову, а потом дал небольшую книжку Н. Н. Воронина «Цените и охраняйте произведения древнерусского искусства». Там очень просто и ясно написано о непреходящей красоте древ-



нерусского искусства, сотворенного и признанного народом.

Наутро Иван Григорьевич говорил со мной смущенно.

— Прочитал. Очень поучительная книга. Я ведь об этом никогда не думал, — честно сознался он. — Религия — опиум, яд, вред — это для меня ясно. А иконы всегда считал только частью религии, поэтому и они — вред. А вот получается — народное искусство.

Человек умный, пытливый, наблюдательный, с большим жизненным опытом, он не старался сразу высказать полное понимание. Но приглядывался к тому, чем я восхищаюсь, и мотал, как говорится, все себе на ус.

Вот с этим-то спутником мы и колесили по тотемским дорогам, попадали в ямы и выбирались из них и, наконец, оказались за сто десять километров от районного центра, в селе Никола, там, где в Толшму впадает Ельшма и где, как уверил нас местный учитель, некогда находилась стоянка древних славян. Это место народ называет Верх-Толшмой, хотя на карте такого наименования и не отыщешь.

Никола — центр крупного колхоза «Россия». Соколов прежде

всего отправился на стройку — возле школы возводили просторное здание. Я — за ним.

Бригадир плотников Александр Александрович Шамохов сообщил, что кинозал рассчитан на двести человек, отводятся помещения под библиотеку с читальным залом, парткабинет, контору колхоза и агролабораторию.

Плотники уже успели сложить половину здания, даже вставили большие многостекольные рамы. С грустью я заметил, что клуб строили как амбар, как казенное место, — скучно, без капли любви, без малейшего желания сделать его привлекательным, радостным, красивым. Ведь совсем неподалеку в деревнях можно видеть на старых избах и удивительную по красоте резьбу и нарядные наличники. Только-только выехали мы из Тотьмы, как обнаружили в деревне наличник слухового окна. Слажен он просто, без затей, без тонкой ажурной резьбы, но смело, по-народному, по-русски! Сверху, на крышке, в обе стороны два кудрявых завитка с четырехугольником посередине. То же самое и справа, и слева, и снизу, а в целом этакое разудалое, веселое и совсем нетрудное в работе украшение. Невольно память сопоставила этот образец крестьянского искусства с обрамлением окон на одном современном здании — Казанском вокзале в Москве, выполненном академиком архитектуры Щусевым.

А сколько строгой прелести, безукоризненной гармонии в сохранившихся кое-где памятниках народной архитектуры — деревянных церквях!

Неужели перевелись в этих местах плотники и столяры — мастера своего дела? Неужели старые церкви должны быть красивее новых клубов?

Я прямо спросил об этом колхозников-строителей.



Один из плотников, пожилой, седовласый у висков, но все еще кудрявый, Сергей Алексеевич Неклюдов, сказал:

— Да, веселы наличники в наших местах. Но ведь какие мастера их резали!

— А что — мастера! — с обидой отозвался бригадир. — И сейчас такие найдутся. Сделаем наличники — самые красивые для образца выберем. И фотографию в письме пошлем: вот, мол, любуйтесь.

В Тотемском музее я видел прялку с широкой лопастью, резным верхом и яркими синими и красными цветами в пышном букете. Каждый цветок отбликован по краям лепестков белой краской сильными, уверенными мазками.

Когда в поездке, в разных деревнях Верхней Толшмы я просил старух показать «баские» прясницы, с чердаков приносили чаще всего «соломенки» — небольшие прясницы с узорно наклеенными цветными соломинками. Рисунок незатейливый, цвета преобладали зеленый и фиолетово-бордовый вперемежку с естественным цветом соломы.

В общем, не ахти какое добро. Скромные деревенские поделки ничуть не походили на ту красавицу-прялку в музее,

И вдруг в одном из домов деревни Село хозяйка сказала дочери:

— Чего ты соломенки-то тащишь? Ты детскую принеси.

Через минуту девочка появилась с небольшой ярко-красной нарядной прясницей, на которой в композиции, очень похожей на ту, что в музее, расположились синие цветы с прельстившими меня уверенными белыми декоративными мазками. И манера общая, да, наверное, и мастер тот же.

— Кому заказывали ее? — спросил я, зная, что такие вещи в деревне чаще всего выполняются на заказ, и рассчитывая сразу узнать автора вещей столь своеобразного стиля.

Женщина рассмеялась:

— Кто ее знает? Это ведь еще материна игрушка, да и то из далекой поры, когда мать босоногой девочкой бегала.

И лукавый вопрос:

— Ты что, прясть хочешь?

Ну точь-в-точь та же шутка, что я слышал от старух на Северной Двине, в Нижней Тойме, когда хвалил и предлагал уступить мне золоченые, с зелеными конями прялки.

Я отвечал, что мне нравятся красивые вещи с русской народной росписью.

— А коли нравятся, так ты поезжай в Еремеевскую. Там не то что прясницы — все стены в доме, бывает, расписаны цветами. Мать рассказывала мне.

Я сразу вспомнил свой разговор в Тотьме с бывшим директором музея садоводом-любителем Николаем Александровичем Черницыным. В 1920 году его, учителя начальной школы, вызвали в исполком и ска-



— Организуй музей.

— А на какие средства я буду приобретать экспонаты? — спросил Черницын.

— Вот тебе двадцать пудов соли. Грузи мешки на телегу, запрягай лошадь и езжай по уезду.

И Черницын поехал. Тридцать лет он директорствовал в музее, часто колесил по лесным дорогам, повидал сотни деревень, разбросанных в тайге, и сумел создать превосходный музей — один из лучших в Вологодской области. На мой вопрос о местных рос-

писях по дереву именно он и указал маршрут:

— В Верхнюю Толшму отправляйтесь, — и усмехнулся: — Говорили мне, что там на перегородах и цветы, и человеческие фигуры, и даже льва увидеть можно. Только это все стародавние времена, не знаю, уцелело ли что-нибудь сейчас. Попалили, поди, не берегут. А то перестраивались — выбросили или обоями заклеили. Это тоже могло случиться.

Кто знает, может быть, и роспись в Еремеевской постигла та же грустная судьба, что в деревне Исаково (помните, я рассказывал о фотографии в альбоме Бобринского?). Но коль скоро деревня эта на Верхней Толшме, и мы забрались сюда, Иван Григорьевич Соколов сказал шоферу:

— Ну что ж, давай в Еремеевскую.

Расспросы в самой деревне привели нас к покосившейся избе Александра Алексеевича Нехаева. Старинные резные раскрашенные наличники с полукружиями, напоминающими лучи солнца, вызывали восхищение. Что же может быть внутри?

Сколько раз — сотни, наверное, — бывал я в старых и новых вологодских, да и вообще северных избах. Обстановка хорошо известная. Хозяева либо оставляют бревна без всякой отделки, либо оклеивают газетами, а затем обоями, а потолок после оклейки белят.

Если в горнице ставят перегородку, то ее обычно даже не красят, а в особо аккуратных семьях надранные песком и мочалкой сосновые доски сияют желтым медовым цветом.

А тут я вошел и обомлел.

Вся комната — не горница, а горенка, невеликое боковое помещение, — все стены, простенки, загородка и даже потолок и двери были красные. Точь-в-точь как на русских иконах XVI—XVII веков в «клеймах» жития какого-нибудь святого старинные художники изображали дворцовые палаты и боярские хоромы, вроде «Николы с клеймами» в музее Палеха или фресок Смоленского собора в Ново-Девичьем монастыре в Москве. В Третьяковской галерее тоже есть несколько таких икон.

Впечатление у меня создалось, будто я молниеносно оказался перенесенным в давно прошедшие времена, и из темного угла вот-вот встанет протопоп Аввакум. Я вспомнил о нем потому, что в житии его помнута некая девица, видевшая во сне палаты протопопы и рассказавшая:

«Потом-де привели меня во светлое место, зело го-

раздо красно, и показали-де многие красные жилища и палаты...»¹.

Очевидно, слово «красный» следовало понимать в смысле «красивый», но у меня в памяти так и остались аввакумовские «красные палаты».

Жизнь колхозной семьи Нехаевых шла в большой горнице, а эта горенка обычно отводилась для приезжих, которых сейчас не оказалось.

Основной красный тон — не яркий, не светлый, скорей приближающийся к бордовому; существует такое название у краски: «бакан». По красному фону располагались голубые прямоугольные и ромбовидные плашки, а на них — цветы, букет, вытянутый вверх и композиционно устроенный в соответствии с формой плашки. Цветы — яркие, синие и красные, оказались хорошо мне знакомыми. По форме они очень напоминали те, что изображены на фотографиях из альбома Бобринского. А по цвету казались родными братьями тем, что украшали маленькую красную детскую прялочку из деревни Село, ставшую уже моей и лежащую в нашей машине. Каждый цветок отбликован по краям лепестков сильными, уверенными закругленными белыми мазками; иконописцы называли их «оживками», и эти блики действительно оживляли цветы, превращали в трепетные, даже как будто пахучие. Располагались цветы со вкусом, без назойливой пестроты.

Я радовался, восхищался и... искал льва. Того льва, нарисованного простодушно, как может рисовать страшного зверя человек, ни разу в жизни не видел-

¹ «Житие протопопа Аввакума им самим написанное». М., 1933, стр. 152.

ший его живым. Но льва не было. На двери изображалась забавная сцена: белый конь, напоминавший иконописного, а на коне вместо традиционного для «Чуда Егория о змие» всадника... женская фигура с букетом цветов. Видимо, художник, автор росписи, когда-то побывал в цирке и его так поразила наездница, что он решил ее изобразить.

Под этой необычной и забавной сценой отчетливо видна дата: «1881 г.».

Находку я счел настоящим событием.

Во-первых, такого обилия домовый росписи мне еще не доводилось встречать. Во-вторых, установлена точная дата — самое начало восьмидесятых годов прошлого века. Характер росписи свидетельствовал, что автор украшения горенки Нехаева и внутренности дома, помещенного в альбом Бобринского, — одно лицо. И годы близкие — 1875 и 1881. Теперь бы только выяснить, кто автор, и, значит, я не зря поехал в Тотемский район.

Но когда казалось, что я уже близок к разгадке тайны, возникла полная неясность.

В семье Нехаевых на мой вопрос не мог ответить даже самый старый — восьмидесятилетний дед Александр Алексеевич. Желая все же чем-нибудь мне помочь, он сказал:

— Слышал я, мил человек, будто мастера сюда приходили из Молвотино. Это — на костромской земле, за Бумом. Летом-то они в поле да на сенокосе, а зимой по деревням ходили, плотничали, малярничали, самовары лудили.

Кто знает: может, это и верно? Вспомнилось — ведь о костромских «красильщиках» писал и Писемский.

...В раздумье шел я по деревне Лобаново. Иван Григорьевич Соколов уехал на колхозную ферму побеседовать с доярками, а я занялся розысками дома, где, как мне сказали, красиво расписано подпечье. К сожалению, хозяйка уехала. Изба стояла под замком, с заколоченными окнами. Сквозь широкие щели и я смог только разглядеть загородку со знакомыми цветами и наивно нарисованную белую женскую фигурку вроде наездницы из Еремеевской. Опять работа того же неизвестного художника семидесятых-зосьмидесятых годов прошлого века.

В северных деревнях, далеко от железных дорог и редко посещаемых приезжими, да еще из Москвы, каждый новый человек на виду. Мои расспросы про роспись цветами быстро привлекли всеобщее внимание. Женщины шушукались, мужчины, пришедшие с поля на обед, переговаривались с усмешкой: они в душе считали меня за чудака, но все же старались помочь добрым советом.

Когда я стоял, припав глазом к заколоченным окнам покинутой избы, подошла женщина средних лет, колхозница, как потом выяснилось, — доярка. Поглядела на меня испытующе, улыбнулась открыто, приветливо и промолвила:

— А у меня в избе не хуже намалевано.

— Можно взглянуть? — попросил я.

Она повела меня к себе в избу, находившуюся неподалеку.

Уже при входе бросилось в глаза ярко расписанное цветами подпечье. А в самой горнице большая перегородка напоминала нехаевский дом в Еремеевской, с его конем и наездницей. Те же красно-бордовые доски, те же сине-красные с белой «оживкой» цветы в

букетах и — о радость! — на крайней, самой широкой доске у русской печи — большой желтый лев. Первое, что подумалось: как он похож на того, что изображен в альбоме Бобринского: тот же изгиб ног, та же грива, тот же хвост. Затем другие сравнения. Вспомнились львы городецкой резьбы и, наконец, пришли на память львы, украшающие наружные стены Дмитровского собора во Владимире и церкви Покрова на Церли, буквы в старинных рукописных русских книгах.

Движение схвачено живо, правдиво. На задних лапах зверь стоит крепко, уверенно, а передними будто перебирает, кажется, вот-вот одну лапу опустит. Обеспокоенный чем-то лев повернул голову. Морда, выполненная явно так, чтобы вызвать страх, все же походила на морду более близкой и понятной для художника собаки. Но как и подобает льву, украшала его пышная грива; она курчавилась завитками в определенном ритме, в четыре волны. Хвост с метелкой задорно поднят. Лев казался и «своим», домашним, и внушающим страх. Вся манера, в которой сделан рисунок, особенно контуры и округлые мазки теней, удивительно напоминали такие же тени в одежде фигур на скорописных иконах-«краснушках».

Любителям натуралистической живописи, где всё: лепестки фикуса или гнилая доска пола — вырисовывается с удручающей дотошностью и точностью, такая резкая и наивная народная живопись, наверное, бы не понравилась. Но тем, кто любит образность как основу живописного языка, простоту и искренность выразительных средств, лев из Тотьмы пришелся бы по душе. Я залюбовался им — могучим выражением народного представления о красоте, смелой условностью, любовно сохраненной русской живописной традицией



и своеобразием почерка художника.

Хозяйка, видимо, не ожидала, что роспись в ее избе, давно ставшая для нее привычной, произведет такое впечатление. А я с восхищением смотрел и смотрел и наконец сказал:

— Ох, хорош лев!

Как оказалось впоследствии (но речь о том впереди), Александра Флегонтьевна Богданова

ва не забыла моего восторженного возгласа.

Кто расписывал подпечье и стенку, хозяйка — женщина нестарая — конечно, не знала.

— Свекровь и то не помнит, а ей семьдесят с лишним, — сказала Богданова. — Будто бы из другой избы крашенные доски перенесли.

Встретил я подобную же роспись и в соседних верхне-толшменских деревнях — Ермолице, Кузнечице, но только поскупее: где сохранился только цветастый шкаф, где остались узоры на досках у шестка. И никто не мог назвать фамилии автора росписи. Спадали только слова о костромских мастерах из Молвотина. Об этом что-то смутно помнили кузнечицкие старики.

Я уже решил при случае съездить в Молвотино (переименованное теперь в Сусанино). Но...

Оказалось, что мои поиски не закончены еще и на тотемской земле.

Я много раз убеждался, что в путешествиях за красотой самыми отзывчивыми помощниками и лучшими советчиками являются старые учителя. Они давно живут в этих местах, вырастили и выучили не одно поколение ребят, знают наперечет обитателей каждой избы. Стбит учителю переступить порог, как хозяин, бородатый сорокалетний дядя, встает, подобно ученику первого класса, и почтительно, с незатухшей, не померкшей любовью произносит:

— Здравствуйте, Иван Никанорович!

Или:

— Здравствуйте, Ольга Васильевна!

С учителями разговаривают без стеснения и настояренности, готовые помочь по первому слову.

Поездка наша с Соколовым продолжалась, и вот мы уже оказались в шестидесяти пяти километрах от Нижней Толшмы, в селе Погорелово. Опять секретарь райкома занялся в правлении колхоза своими делами, а я решил поговорить с местным старожилом, уважаемым человеком, сорок лет учительствовавшим здесь, а теперь отдыхающим на пенсии, — Николаем Михайловичем Линьковым.

Я рассказал ему о разукрашенных домах, напоминавших изображения старорусских зданий на «житийных» иконах, о букетах цветов, наездницах, а больше всего, конечно, о льве. Поведал и о безуспешной попытке разыскать неизвестного народного художника, судя по всему, пришедшего сюда из костромских земель.

Николай Михайлович о чем-то поразмышлял, видимо, всроша память, потом спросил:

— Машина у вас есть?

— Есть.

— Тогда поедem в Жилино.

По дороге немногословно объяснил:

— Самые старые дома у нас в Жилино. Помнит-ся, видел я там в одном доме роспись.

Он назвал даже, чей дом украшали букеты цветов. И вот мы сидим в избе Дмитрия Николаевича Савинского, давно обрусевшего потомка некогда сосланного сюда поляка, соратника Костюшко.

— Я скажу насчет маляров, — сразу же отозвался Савинский, как только я упомянул про молвотинцев. — Никакие они не молвотинские и не костромские — те плотничали да самовары лудили, а малярничали редко. По деревням ходил да красил Парфёха Сухорукий. Руки у него сухие, а малярил ладно. И шкафы разукрашивал и корзинки. Только он и до пятидесяти лет не дотянул. А вот другой был — тот настоящий мастер, Жареный по прозвищу. Он и цветы все эти рисовал, и наездниц, и львов.

Снова вспомнился «Питерщик» Писемского, но на этот раз те строки, где маляр Клементий говорит, что цветы он наносит по трафарету. А ведь тут полная непосредственность, настоящее народное искусство. Нет, здесь действительно работали не костромичи, не молвотинцы.

Кажется, я напал на след.

Жареный — конечно, прозвище. А кто он, художник, бродивший по тотемским деревням и силой своего таланта создавший в бедных деревенских избах подобие древних боярских палат? Кто в нищую, труд-

ную жизнь северных крестьян вносил радующую красоту народного искусства?

Мать Дмитрия Николаевича Савинского, Мария Николаевна, древняя старуха, могла только вспомнить, что родом Жареный был из деревни Маныловицы.

— Может, съездим туда? — предложил я. До деревни этой, как я справился по карте, оказалось не больше восьми километров.

Учитель покачал головой:

— Бесполезно. Там таких стариков не осталось, чтобы помнили.

Он с досадой дернул рукой:

— Катерина вот в больнице. И плоха. Она бы рассказала. Ведь тоже из Маныловицы.

Захваченный азартом розысков, он вдруг молодцом блеснул глазами и предложил:

— Поехали опять в Погорелово.

И, как говорится, счастье улыбнулось нам. Восемидесятишестилетнюю Екатерину Ивановну Линькову, однофамилицу учителя, только вчера привезли из больницы. Она явно доживала последние дни, одиноко лежала в своей комнатке и обрадовалась, когда ее навестили.

— Жареный? — переспросила она и задумалась. — Жареный... Помню, как не помнить.

Старые люди забывают то, что произошло неделю назад, и отлично воскрешают в памяти далекое прошлое. Тому, что вспомнила Екатерина Ивановна, насчитывалось побольше семидесяти лет.

Линькова говорила медленно, то и дело замолкая, точно каждый раз заново собиралась с силами.

— Их, Жареных-то, много. Подлинная фамилия — Дятлевы. Ваня был, отец. Он поджарой, не толстой —

вот его по-уличному и прозвали Жареным. Гармошки чинил. Прохудится гармонь, про нее и говорят: «Ну, к Жареному запросилась». Только Ваня ведь не красил. И сын его, Вася, не красил. А красил Влас Жареный, тот, что жил в Маныловицах, только в другом доме. А все ж они однопородные. К нему еще другое прозвище пристало: «Медок». Вот он ходил по деревням красить. Цветы баскiе писал на стенах да и на подпечьях. И разные фигуры. Дома-то ему никогда не сиделось, летал как птица перелетная — то на Сухону уйдет, а то на Верхнюю Толшму.

Путем не очень сложных подсчетов удалось установить, что умер Влас Дятлев, по прозвищу Жареный, в 1890 году.

Итак, народный художник, автор многих интересных росписей, был отыскан и назван.

Спустя месяц я получил посылку из Тотмы. Когда снял мешковину, оказалось, что это широкая доска со львом, который так меня прельстил в деревне Лобаново. Александра Флегонтьевна Богданова вздумала перекрашивать перегородку в «веселенький» голубой цвет, вспомнила о моем восхищении львом и рассказала о том председателю колхоза «Россия» Александру Ивановичу Линькову.

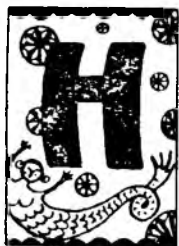
— Придайте мне другую доску, а эту я отдам.

И сейчас лев из Тотмы и маленькая детская красная прясница с цветами висят у меня на стене, напоминая о талантливом народном художнике прошлого века Власе Дятлеве.

Я долго ждал письма из села Никола, где при мне начали возводить клуб. Но совесть не позволяет крикнуть душой: не получил я этого письма. Видно, зда-

ние там всё-таки построили без уважения к своей северной русской красоте, не применили резьбу, не на-
весили наличников. Вряд ли можно сказать, что они
сделали это, руководствуясь современным стилем. На-
стоящая современность — не забвение традиций наро-
да, а продолжение их.

ТРИ ШЕНКУРСКИЕ РОЗЫ



Е МОГУ похвастать, что перед поезд-
кой в Шенкурск у меня оказалось до-
статочно сведений об этом маленьком и
глухом городке на реке Ваге, притоке
Северной Двины. От железной дороги —
от станции Вельск — до Шенкурска
путь неблизкий — полтора ста километ-

ров. Это я уже после узнал, что можно ехать и водой:
надо по Северной Двине пароходом добраться до при-
станн Березник, а оттуда ночь плыть на катере все
сидя, потому что кают нет. Да ведь и в Березник тоже
нелегко попасть, так что еще неизвестно, на воде ли
лучше ночь провести, либо трястись день по тракту,
раздолбанному грузовиками.

Сведения о Шенкурске скудные: в одной книге стра-
ничка, в другой и того меньше. И всё на частные те-
мы: то о старинных свадебных обрядах, то о кре-
дитном товариществе, то о ценах на землю. И лишь
однажды посчастливилось мне: в «Известиях Архан-
гельского общества изучения русского Севера» обна-

ружил я историческую справку «Прошлое г. Шенкурска и его уезда, Архангельской губ.»¹. В итоге хоть что-то узнал.

Узнал, что название Шенкурск впервые в русской истории встречается в 1315 году, когда новгородский посадник Василий Своеземцев купил у чудских князьков земли «от Шенкурского погоста до ростовских меж».

А раньше того звались эти места Биармией и Заголоцкой Чудью, а там, где видим сейчас дореволюционных времен шенкурские обывательские дома, стояла крепость, чудское городище. Высокую круглую гору на въезде и по сию пору поминают как городище.

Новгородские земли делились на пятины. К Обонежской пятине приписали волость Заволочье, или Двинскую землю (Волок—на водоразделе между Онегой и Северной Двиной). Славились эти места и при Господине Великом Новгороде и потом в Москве: отсюда шла слюда, здесь добывали деготь, особо славились охотники, пересылавшие на запад ловчих птиц и прежде всего — кречетов. В конце XIV и в XV веке не раз наведывались сюда с огнем и мечом московские рати, а после падения Новгородской республики и окончательно завладели далеким, но богатым краем. Только местные ушкуйники иногда совершали отсюда набеги на богатые города — Великий Устюг, Холмогоры и иные какие. С учреждения опричнины отдана «Вага со всеми ее доходами» на содержание близких царевых слуг, а потом поступила в ведение Приказа Большого дворца. В 1708 году под именем «Важской доли» вошли шенкурские земли в Архангельскую губернию.

¹ «Известия Архангельского общества по изучению русского Севера», 1910, № 19, стр. 39—51.

А имя Шенкурск возникло тоже неспроста.

Когда-то, лет, может, шестьсот, а то и семьсот назад, река Вага шла далеко на запад от нынешнего города, а между нею и посадом текла река Шеньга, впадая в Вагу. Мало-помалу «река превеликая Вага» размывала правый берег, устье Шеньги отползало все выше и выше.

Вместо речки осталась ее старица, курья, и поселок, или погост, стали именовать Шеньг-курья. Теперь устье речки, давшей городу имя, находится километра за четыре от Шенкурска, а Вага несет воды под самым чудским городищем, и уже эта река не «превеликая», только весной, в полую воду плывут по ней суда свободно.

Грустно отмечает историк:

«Площадь горы ежегодно весной отмывает, высыпая иногда гробы, человеческие кости, различные обломки, и всё это поглощается волнами. Лет двадцать тому назад¹ обнаружилось две плиты со старинными надписями. Многие слова трудно разобрать, но ясно видно, что на том месте были погребены князь и княгиня».

В XVIII веке Шенкурск посетил, проходя неподалеку с обозом из Холмогор в столицу, сын прасола Михайло Ломоносов. Впрочем, может, это и легенда, утверждать точно не берусь: московский тракт расположен за рекой, и парень — кто его знает — мог просидеть в ближней деревенской избе у мужиков.

Попозже стал Шенкурск местом царской ссылки, где отбывали долгие годы изгнания иногда до сотни человек: то горцы, которые сражались на Кавказе

¹ Значит, году в 1890-м.

против русских войск, то поляки-повстанцы, соратники Костюшко, то народовольцы. Среди ссыльных можно назвать и имена графа Апраксина, и революционеров Веры Засулич и Курнатовского, и писателей Водозова, Левитова, Мачтета, и духобора П. Веригина, врача Рождественского, народовольца Александра Фадеева, отца известного советского писателя, и многих других.

Вот, в сущности, и всё: слава не велика, да порой и сомнительна.

Но я поехал в Шенкурск все же не наобум и не без повода.

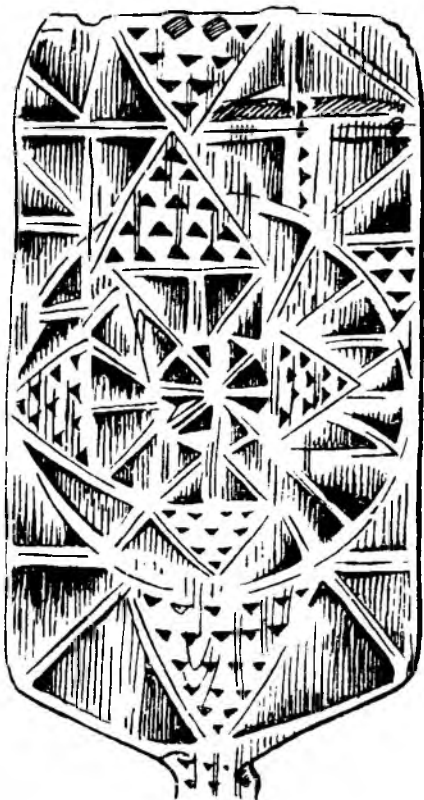
В книге В. Василенко «Русская резьба и роспись по дереву» приводятся изображения прялок с росписью, которую автор называет шенкурской. Творческая характеристика различных типов этой росписи, сделанная самим автором книги, а также поездки и отчеты работников Загорского музея-заповедника и Исторического музея в Москве установили несколько центров, северодвинской росписи: Пермское горье, Верхняя Уфтьюга, Нижняя Тойма и другие. Шенкурской росписью называлась, следовательно, весьма условно, только на том основании, что до революции все эти места входили в обширный Шенкурский район Архангельской губернии.

Про непосредственно шенкурские прялки сведения оказались столь же скудные, как и про сам городок, и какие-то странные.

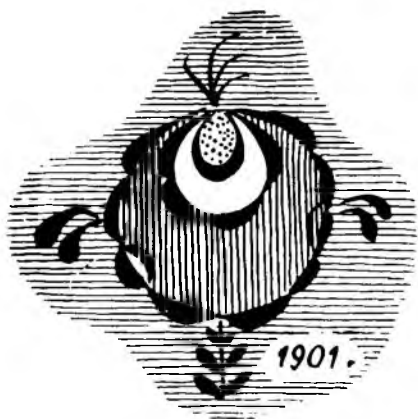
Я знал, что в тех местах существуют резные прялки.

В запасниках Архангельского областного краеведческого музея увидел я прялку совершенно необычную. Довольно старая для такого рода бытовых предметов, относящаяся, наверное, к XVIII веку, она вызы-

вала и бесспорный интерес и очень противоречивые соображения. Геометрическая резьба вписанного в круг рисунка свидетельствовала о старых русских изобразительных традициях, но свобода обращения с отдельными элементами, переход от ясного графического характера рисунка к полунамекам, свободные смещения и контрасты в композиции—все невольно заставляло думать о современных декоративных поисках. Мысль о произвольности расположения кругов сменялась удивлением перед тем, как мастер-резчик сумел уравновесить части резного украшения. В этом отношении шенкурская прялка являлась блистательным и ярким доказательством того принципа русского декоративного искусства, о котором говорил известный историк Забелин: для нас характерна не симметрия, а равновесие масс.



Я пытался выяснить в Архангельске происхождение



ние прялки: ведь понятие «шенкурская» могло, как и в книге В. Василенко, относиться к любому месту довольно обширного когда-то Шенкурского уезда.

— Нет, — сказали мне в музее. — Эта прялка, судя по всему, из Литвинова, деревни, находящейся напротив Шенкурска, на другом берегу Ваги.

И в том же музее шенкурскими назвали мне четыре крашеные красные прялки с тремя условными розами, ничуть не похожие на приглянувшуюся мне резную.

И уж совсем удивителен рассказ одного моего знакомого, который уверял, что собственными глазами видел в Шенкурске икону старинного письма, на которой божья мать, или Параскева, изображена не по одной из канонических «прописей», а вольно, с прялкой в руках. Мыслимое ли это дело: богородица или святая — пряжа! Другого такого случая я в древнерусском искусстве не знаю. Видимо, все-таки близлежащие к Шенкурску места имели (а может быть, и имеют) свою стойкую традицию расписывания прялок.

Вот потому-то меня и тянуло в Шенкурск. А уж найду ли я там что-либо — это дело случая.

Со скудными сведениями и с фотографией необычной прялки, снятой мною в Архангельске, я и отправился в маленький северный городок,

По железной дороге доехал до станции Вельск, а затем мне предстояло сделать сто пятьдесят пять километров автомобилем по «московскому тракту», тому самому, по которому некогда шел с обозом Ломоносов.

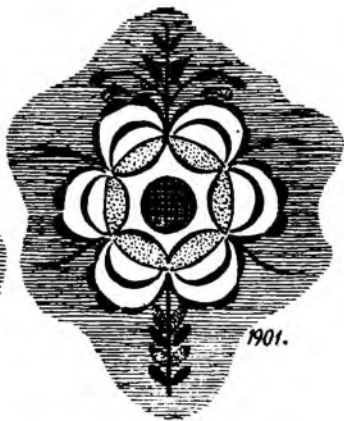
В деревне Чернышево, в старинном двухэтажном, расписном, как терем, доме Дьячковых увидел я первую красивую прялку. Фон — праздничный, ярко-красный, который так любили в XV и XVI веках новгородские изографы, изображавшие на иконах палаты, и который столь близок северным мастерам-«красильщикам», отделывавшим внутренность горниц — перегородки, подпечья, шкафы.

На красном фоне прялки — три цветка, расположенные один над другим, и травы с листьями в традиционном русском переплетении.

Роспись не походила ни на пермогорские прялки — желтые с птицами Сирин и узорами, напоминающими северную финифть; ни на тоемские и борокские с золотыми, красными и зелеными конями и свадебными выездами; уфтыюгские с широкими узорными листьями на одном стебле; мезенские с конями, оленями и геометрическими узорами; костромские, ярославские и тотемские — чаще всего резные, а если уж крашенные, так с пышным букетом цветов. Напоминали прялки только те четыре доски, что хранились в Архангельском областном краеведческом музее, но казались много богаче.

Может быть, я набрел на какое-то неизвестное до селе на Севере гнездо талантливых народных художников?

По приезде в Шенкурск решил выяснить взволновавший меня вопрос.



...Тихий зеленый городок с деревянными домиками и дощатыми тротуарами. Вся промышленность — леспромхоз и промкомбинат. С трех сторон густой сосновый бор. На взгорье — «чудском городище» — скамейки, по вечерам заполняемые любителями северной красоты, а внизу синяя пристань и деревянный причал перевоза с буксиром-толкачом и баржой, которую по старой памяти именуют «завозней».

Еще сохранились у нас на Севере такие города, некогда процветавшие, потому что лежали на воинских или торговых путях, а теперь потерявшие бывшее значение и выполняющие в лучшем случае роль районных центров.

С чего-то надо начинать. Для начала один из шенкурцев посоветовал мне маршрут: к «Макарью», к развалинам бывшего монастыря. Существовала туда пешеходная тропа, а в редакции районной газеты поведали сенсационную историю о том, что группа школь-

ников только что совершила поход и обнаружила обвал в подземелье.

— А там что-то хранится.

Невольно вспомнили про новгородских ушкуйников, про рассказы о кладях. Вокруг небольшие деревеньки. Вот там и искать старину. Подумали-погадали мы, еще раз порасспросили знающих людей и непременно установили, что после дождей к Макарью никакая машина не проедет, а пешком идти далековато. Впрочем, нашли один выход: связисты на случай линейных аварий снабжены гусеничным вездеходом, а уж если добираться к подземелью, то вернее всего на нем.

Вот мы с попутчиком-шенкурцем и отправились райкомовской автомашиной к связистам. К нашему счастью, начальника на месте не оказалось — уехал в отпуск на родину за пятьдесят километров, а без него никто не властен снарядить аварийный вездеход. Я говорю «к счастью», ибо через три дня выяснилось, что история с подземельем непомерно раздута: просто провалился пол разрушенной монастырской церкви и в подполье обнаружены осколки церковных рам — вот и всё.

А второе, «к счастью», состояло в том, что, постояв у развилки дорог, наш шофер сказал:

— Может быть, поедем на Речку?

Сначала мы решили, что он имеет в виду отдых на обыкновенной речке. Потом оказалось, что Речка — это группа деревень, километрах в тридцати от районного центра, почти отрезанная болотами.

— А проедем?

— Попробуем, — оптимистически улыбнулся шофер Василий Егорович. — Если сядем, так трактор нас вытянет, он работает возле самого гиблого места.



Надо отдать справедливость, райкомовский шофер всегда располагал очень точными, а главное, нужными сведениями.

Мы единогласно решили:
— Рискнем!

Рискнули и не раскаялись. Потому что именно там удалось обнаружить конец ниточки, которую я стал распутывать.

Василий Петрович Табанин, бригадир колхоза «Вперед к коммунизму», хорошо знает:

— В Речке жил Табанин Иван Андреевич — и плотник и столяр. Избы ставил. Отец его, Андрей, к прялкам не прикасался, а Иван-то на Едьму съездил, с тех пор и стал делать прялки и красить их.

Поначалу не получалось, а потом ничего, овладел. В Едьме мастера Паромовы жили.

И верно: обычай шенкурских мастеров — всегда ставить год изготовления прялки — помог установить, что в 1913 году цветы написаны неумело и аляповато — видно, мастер еще только пробовал силы, учился, — а в 1922 году уже ловко и мастеровито.

Восьмидесятилетний Егор Васильевич Бубновский подтвердил:

— Как съездил Иван в Едьму, понасмотрелся там, так сам наладил станок, ножки точил, лопасти выру-

бал да выстругивал, и красил сам. В последние годы много на заказ мастерил, на рынок. А умер в 1929 году, когда ему и шести десятков не дошло.

Но пряжи качали головой:

— Чего это вы про Едьму плетете? Из Шеговар привозили, там базары попышней других — верно, неподалеку и жили главные мастера.

Итак Шеговары или Едьма?

Видно, придется побывать и там и там.

Провожатым по Шеговарам, одному из самых больших в районе сел, стал учитель русского языка и литературы Иван Александрович Смирнов. Сначала он сел со мною рядышком и долго прикидывал, называя местных старожилов, у которых могли оказаться интересные прялки. Потом весь день мы ходили из дома в дом, будто славил на святки, просили бывших прях доставать заброшенные прясницы с чердаков или сразу же выслушивали сетования:

— Где же ты раньше-то был, милый? Сожгли, на лучину ишшепали. На что они теперь, когда не придем?!

Те прясницы, которые всё же удавалось обнаружить, обтертые мокрой тряпичей, очень мало походили на алых красавиц, увиденных в Чернышеве или хранящихся в Архангельском музее.

Единственное сходство, что и здесь обычно подымались один над другим три цветка. А фон — мрачный, коричневый, порой даже черный. Не радовало и то, что узоры мастер выводил не свободным движением кисти и руки, а слишком уж точно и аккуратно вычерчивал с помощью циркуля.

Без особого труда удалось установить, что автором этой росписи являлся Алексей Федорович Земских,

житель деревни Большая Першта, расположенной не-
подалеку от Шеговар, на другом берегу Ваги. Он плот-
ничал, делал рамы и двери, дожил без малого до вось-
мидесяти лет. Вместе с сыном Николаем вытесывал,
вырезал и красил прялки, но не для продажи на яр-
марках и базарах, а только «для своих». Сын умер
помоложе: здоровье подорвал на гражданской войне,
когда его ранили.

Вдруг учитель, который шел, раздумывая вслух,
куда бы нам теперь еще отправиться, замер на месте
и почти закричал:

— Что же это я? Нам бы прежде всего на Выстав-
ку надо. Другими словами, в Ларнинскую. К Ивши-
ным.

Мы шагали долго, чуть ли не в самый край Ше-
говар, села, состоящего из многих деревень, и наконец
оказались возле большого старинного дома с резными
подзорами.

Место оказалось золотой жилой.

Семья Ившиных большая, и, хотя часть живет в
других городах, о них, отсутствующих, говорят часто
и так подробно и нежно, будто отлучились они нена-
долго и скоро вернутся на Выставку.

Хозяйка, Валентина Александровна, жена Нико-
лая Яковлевича Ившина, женщина уже за шестьдесят,
стала вытаскивать из углов и закоулков, с чердака,
из чуланов и амбарушек разные прялки. И про каж-
дую-то она помнила всё — и когда куплена, и где, и у
кого, и за сколько. Нашлась прялка на золотом фоне
и с традиционной картинкой: «Везет молодец девицу
на златогривых лошадях». Это — нездешняя, это — Се-
верная Двина, Нижняя Тойма. Темно-коричневые сухо
расчерченные прялки, как я уже знал, работал мас-
тер Земских с Речки. Но вот и прялка с тремя розами

на красном фоне. Интересно, что о них скажут женщины? И Валентина Александровна и ее свекровь Екатерина Степановна в один голос заявили: Едьма. Тут уж не засомневаешься: Шеговары-то рядом — если бы на местном базаре купили, памятливые хозяйки сразу о том бы сказали.

Разгадка тайны, казавшейся близкой, опять отодвинулась в сторону Едьмы.

Но огорчения это не принесло.

Екатерина Степановна поведала про старину:

— Как в ту пору жили? Всю неделю палили лучину, а на воскресенье берегли самодельную сальную свечу. Тогда же по случаю праздника и чай пили. На всю деревню два самовара, один из них у нас. Скатерть домотканая с синим опять же самодельным узором. А иные мужики и хуже нас жили: как говорится, «на ложке воды не было напиться».

Я спросил Ившиных:

— Про самодельные узоры помянули. Это как же понимать: вышивка или набойка?

— Набойка.

Валентина Александровна поднялась, совсем по-детски подмигнула, пообещала:

— Достану, где-то у меня лежит.

Из старинного великоустюжского сундука, украшенного «морозной жестью», под перезвон замка достала тяжелую стиранную-перестиранную скатерть. По темно-синему, цвета индиго фону плотно шли белые узоры и широкая кайма, как у вышитой скатерти.

— Кто же это так ладно украшал?

— Матушка свекрови Екатерина Степановна Стрелкова мне говорила, что и скатерть и вот этот кусок тканины — из ее приданого. А ей мать передавала, что

бабушка мастерила. Да приговаривала: «У меня пять дочерей, всем нарядов закупить — добра не станет. На покупное-то я и не зарюсь, сама наготовлю».

Мы вместе стали подсчитывать, и оказалось, что бабушка Стрелкова делала набойку в сороковых годах прошлого века. Подумать только — во времена Лермонтова, Белинского!

А вот как звали бабушку, запомнили все.

— Ничего, — утешила меня старая Ившина. — Вы где ночевать собираетесь? В Логиновской? Там древние старухи живы — скажут.

Хоть и засветло — северные ночи, как негаснувший день, — но уже близко к полуночи добрались мы наконец до ночлега.

У хозяйки, смешливой старухи, не желавшей сдерживать улыбку при виде мужчин с прялками, я спросил о Стрелковой. Хозяйка знала, о ком речь, но ничего вспомнить не могла и вызвалась сходить к соседке, которая, по ее словам, наверняка знает. Я предложил было сопровождать ее, но хозяйка отмахнулась:

— Она чужих не любит.

Вернулась скоро с приглашением:

— Лиза зовет вас зайти. — И прибавила для сблизна: — У нее старины много.

Посылает же судьба такие неожиданные встречи!

У Елизаветы Григорьевны Лозинской изба просторная, с большой светлой горницей, тихая, обжитая, уютная. И сама она — женщина средних лет, спокойная, неторопливая и тоже какая-то уютная, говорящая вполголоса, спокойно, доброжелательно, округлыми, легко рождающимися фразами и охотно дарящая ласковые слова,

Ответила сразу же, что бабушку Стрелкову, ту, что хорошо умела печатать набойку, звали Матреной Семеновной, и деликатно спросила:

— Стаиной интересуется?

И так же неторопливо, как и говорила, стала таскать с чердака и из клетки, вынимать из сундуков и раскладывать расписные прялки. Показала на ту, что с пометкой «1891», и сказала:

— Мамина.

Подала вслед за ней другую, похожую, но поновее, с цифрой «1905», и сообщила:

— Моя.

Свела брови, задумалась, вспомнила, добавила:

— А ведь и бабушкина где-то хранилась. Коренушка. В середке-то круг, вроде солнца с лучами, а внизу прорезные круги с крестами. Ах, дай бог памяти, где же она?

Так всё и вспомнила, а пока выносила литые кресты, местные резные деревянные ложки с росписью, рассказывала, что мастерили их неподалеку.

Вынула охапку старых сарафанов, встряхнула их и заговорила, будто запричитала, — не для других, для себя:

— Люди просят: у тебя старье — дай. А я им: зачем? Носить? Нет, на пол под ноги постлать. Так разве я дам топтать? Не дам! В клуб для самостоятельности подарила бы от души и в музей отдала бы, да там, вишь, не нужны. А топтать жалко: красота, хоть и старая...

Глянула исподлобья, скрывая смущение:

— Мы сидели с сестрой Тасей, про писателей рассуждали. Карточки перебирали. Я ведь читаю много, доктора даже говорят лишне много. Перестать бы надо, а не могу,

От соседки я услышал трагическую историю Елизаветы Григорьевны. Я знаю, она не посетует, если я расскажу.

Долго служила Лозинская на почте, принимала и отправляла письма и посылки. После смерти мужа воспитывала двух дочерей. Но однажды добиралась домой на грузовике, стояла на подножке. А навстречу телега с колхозным молоком. Лошадь испугалась, понесла, шофер взял в сторону, не рассчитал, промчался близко к амбару, и там железный крюк зацепил Елизавету Григорьевну, и она, вырванная с машины, повисла с пропоротым легким. В больнице ее спасли, но пришлось перейти на инвалидность. Подрабатывала, плела шляпы из стружки. И потихоньку, для себя, никому не показывая, пробовала писать стихи.

Уже к концу долгого ночного или, вернее, даже рассветного нашего разговора призналась, что, бредет ли лесом, рожью ли, сидит ли возле избы, все идут на ум стихи. А может, это вовсе и не стихи, ведь никаких правил она не знает. Просто, когда на душе спокойно, сами собой приходят слова, складываются строки. А вернешься домой — и либо забудешь все, либо запишешь, а получится совсем не то.

Одно стихотворение поразило меня. Просто и искренне в нем рассказывалось о том, как сидела женщина дома и вдруг слышит: «Тук-тук-тук!» Говорит: «Войдите!» Никто не входит, а стук повторяется. Женщина опять говорит: «Войдите!» Ей кажется, что придет кто-то хороший и будет светло и радостно. Но снова никто не входит. Заглянула в окно, а там дятел пристроился к раме и стучит, ловит жуков. И ей стало грустно, что никто не пришел.

Чувствовалось столь горькое одиночество и тоска человека, оторванного от привычной работы, что я так

и не смог забыть стихи и все думал, что действительно — истинную поэзию отличают не аккуратные рифмы, а искреннее чувство.

Уже лимонно-желтый восход золотил северное небо, когда я и секретарь райкома с прялками под мышкой вернулись в избу, где устроились на ночевку. Долго еще я разглядывал эту северную красоту. Розы отличались от тех, что я знал: казались пышнее, наряднее, а на той, что помечена 1905 годом, характер лепестков и листьев очень напоминал старинный русский цветочный орнамент.

Думал я и о том, какие хорошие, интересные, любящие красоту люди живут на русском Севере. Наверное, встретишь таких же людей и в других местах, но ведь я-то пишу сейчас о Вологодчине и Архангельщине...

Не буду подробно рассказывать, как вместе с работниками райкома ездил и ходил я из села в село и из деревни в деревню, едва услышав, что где-то можно найти интересную прялку. Многое начиналось с пустых скитаний, рожденных досужей болтовней. Но под конец оказывалось, что польза всё-таки есть.

Вот, к примеру, дали мне в одном колхозе «козлика» и сказали, что шофер быстро домчит меня до деревни, где и по сию пору стоят старорубленные избы. Но шофер захватил с собой пол-литровку «зелья» и скоро оказался в таком состоянии, что вместо Нижнего Золотилова завез меня в Верхнее Золотилово — маленькую деревушку совсем на отшибе — и сам погрузился в крепчайший сон. А я стал бродить по избам и неожиданно нашел детскую прялку с невиданной



1926.

рописью — не только розами, но и большими, свободно написанными, завитыми листьями, невольно заставившими вспомнить пышность петровского барокко. Я увез эту игрушку как драгоценность и во многих деревнях расспрашивал, кто мог такое сотворить. Но тщетно: никто этого не знал.

Два часа под секущим дождем плыл я на моторке по реке Ваге. Потоки низвергавшейся с неба воды стучали по туго натянутому тенту, заливали передние стекла, моторист высовывал голову из-под тента, вставал, чтобы лучше рассмотреть плес и вовремя обогнуть плывущие бревна. Наконец, мы добрались до деревни, носящей два имени — оба достаточно характерные — Наум-Болото и Глухая Коскора. Наверное, это действительно глухомань, потому что на песчаной косе много диких гусей и журавлей. И опять загадка: кроме уже знакомых прялок с тремя розами на красном фоне («их делали в Едьме»), одна большая с розами и листьями «барокко». Про нее рассуждения такие: купили в Шенкурске. Стало быть, искать надо по крайней мере двух мастеров в двух разных местах.

Пора, давно пора ехать в Едьму!

Возле Верхней Едьмы на горке сиротливо стоит заброшенная, свободная даже от колхозного зерна, которое здесь иногда хранят, церквушка, вернее часовенка. Она поменьше той, что изображена Левитаном,

но того же печального облика, с одним куполком и с дранковой крутоскатной крышей, посеревшей под суровыми, северными ветрами.

Дорога круто падает вниз, но надо проехать совсем немного, и колеи уже опять лезут на угорье, да так круто, что, видно, бедовавшие здесь когда-то в дождь шоферы набросали сосновых лап. Хвойные ветки помогают машине взобраться прямо на главную улицу Нижней Едьмы. Было время — стояло здесь около сорока домов, а теперь едва десяток наберется — большинство нижедомцев разбрелось по городам. Зато уж те, что остались, крепки в своей любви к здешним местам. И среди них — родичи Паромовых, тех самых мастеров, о которых я столько слышал и ради которых приехал сюда.

Говорят, но это даже самые древние старики еле-еле помнят, что некогда ходили Паромовы под Ярославль, нанимались в пастухи. Один из них научился у ярославцев плотничать и принес это мастерство в Едьму.

Алёкса Паромов — ему бы сейчас набежало поболее ста лет¹ — довольно ловко вырубал прялки-«коренушки» — полотно из ствола, а подгрузник из большого корня. Зимой красиво раскрашивал их по темному и алому фону. Зимой же токарил: вытачивал ножки к столам, сбивал кровати и диваны с резными спинками, делал игрушки — деревянные яйца и дудочки. Летом он ловил рыбу, благо до Ваги нет и версты, плел сети, делал морды. На пашне у него рожь, овес да лен, уход за которым, уборка и переработка стоили женщинам немало труда. Молчаливый, суровый и

¹ Он умер в 1932 г. 74 лет от роду.

упорный в любом деле, он внушал деревенским дикий страх, потому что во хмелю сильно буйствовал: тогда уж лучше никто не попадайся ему на глаза. Достаточно крикнуть: «Александр Иванович идет!», как все на улице врассыпную. А Алёкса Паромов, без шапки, со всклокоченной бородой, тяжело и молча ступал по улице, пока не падал в тяжелом хмельном забытьи.

Вырастил он трех сыновей — Ивана, Андрея да Архипа, но даже и тогда, когда в избе появились снохи, большая семья жила едино. Впрочем, старшего, Ивана, быстро скрутила чахотка; Архипко — так его все звали — буйством пошел в отца, часто дрался, однажды его принесли из кулачной схватки сильно помятым и он тоже умер; Андрей участвовал в гражданской войне и домой вернулся раненый. Переняв от отца мастерство, он хорошо делал прялки и игрушки.

Немного раньше, чем Александр Иванович Паромов, — в 1931 году — умер его старший брат Андрей. Сам он только столярил, а дети все — прялочники. Сын Михаил (1870—1945) жил с дядей и хорошо мастерил деревянные игрушки. Вспоминая детство, рассказывала мне его дочь, Анна Михайловна:

— Тата петушков да кареток нарежет, яиц наточит, а мы всей семьей — пять девок, двое парней да бабушка — их раскрашиваем: каретки суриком, а яйца в разные колера. Тогда мы сами и краски терли. Подолгу работали. Сидишь и думаешь: господи, да скоро ли кончать-то? А тата знаку не подает. А как он отойдет, Маня — она поменьше — примется озоровать: подставит лоб ребятам, а те и рады — намалюют невесть что. Тата вернется, увидит — и всем дёру. В строгости держал. Перед ярмарками в два часа но-

чи вставал. Чуть свет и мы на ногах, глядим — он уже много сделал.

Мне удалось разыскать портрет Михаила Андреевича Паромова. Облик у человека деревенский: волосы заботливо расчёсаны, пышная, хотя и не длинная борода, живой и умный взгляд на правильном красивом и приятном лице. Сразу поверишь, что человек этот, может быть, и строг, но справедлив, заботлив и если учит, то делу.

Каждый вторник в Шенкурске — торговый день. Из Паромовых ездили туда и Александр (Алёкса) Паромов и его племянник Михаил, причем товар и ладили и продавали отдельно.

Дочь Михаила Андреевича — Анна Михайловна Трофимова — сняла с голбца две прялки и протянула мне:

— Вот, отцова работа.



По желтому фону мастер написал три розы — средняя попышнее, а верхняя и нижняя поскромнее, вроде как бы и не роза, а яблоко с насечками. В стороны, как я видел и на других шенкурских прялках, шли листики и усики. Дата: «1918 год».

Другая прялка, также с двумя серебряными розами и усатыми листьями, имела красный фон.

После смерти Михаила Андреевича Паромова, — а умер он в 1945 году, — мастерство прялочников в деревне явно пошло на спад. Сын Николай (род. в 1912 г.) любил раскрашивать прялки и делал это старательно, стремясь дать роспись позатейливее. Но он погиб под Ленинградом за год до кончины отца.

Красил прялки и второй сын Александр, но он уехал из родной деревни.

Рассказывали, что сват Александра Ивановича — Николай Яковлевич Паромов, живший в деревне Райболе, расписывал прялки вместе с Петром Едемским, но и они скоро перестали делать это.

Так постепенно, от человека к человеку, от разговора к разговору накапливались сведения о семье Паромовых, которые работали долго и расписали много прялок в неповторимо шенкурской манере: три розы, одна над другой.

Но откуда всё-таки взялся этот рисунок? Время производства каждой шенкурской прялки легко определить потому, что на ножке всегда стоит дата. Но почему нигде я не видел прялки, созданной до 1893 года? Делали ли раньше прялки возле Шенкурска? И если делали, то какая на них роспись? Ответы на все эти вопросы еще предстояло искать.

В Едьме же в одном из домов мне как-то сказали: — А вот есть кореннушка, так всем прялкам прялка.

— Чем же она так хороша? — полюбопытствовал я.

— Старая очень, — ответила женщина и добавила: — Я еще босоногой девчонкой бегала, а ее видела. Говорили: бабкина. А мне за семьдесят.

Действительно, получилась что-то уж очень старая прялка. А как же, однако, ее разыскивать?

Местонахождение чудо-прялки мне объяснили довольно своеобразно:

— Ты по селу-то поди. Да спроси Серегу-хозяйственника — хоть у ребенка, хоть у кого, его все знают. Сруб увидишь — Серега там у сруба и работает. Так евойной матери и прялка.

Я сделал именно так, как мне сказали: спрашивал Серегу-хозяйственника, нашел сруб, познакомился с матерью Сереги.

— Кореннушка? Есть.

И вытащила запыленную прялку.

Что прялка по возрасту превосходила все, виденные мною раньше в Шенкурске, это не вызывало сомнений. Что прялке лет восемьдесят-девяносто, а то и больше, — тоже казалось бесспорным. Но не это поразило меня. Цвет темного голубиноного крыла являлся основным. Бордюры вводили красный тон. Так же, как и на других шенкурских прялках, основой композиции являлись три розы. Но какие они здесь?! Белорозовые. А главное: это не просто три розы, а три розы, растущие из вазона, то есть куст роз, декоративно раскинутый на всей плоскости прялки. И стоило мне приглядеться к росписи, ее характеру, ее настроению, как я вспомнил, откуда этот мотив. В Историческом музее в Москве я видел резьбу по дереву на досках, и там точно та же композиция: три розы — одна над другой, — растущие из вазона.



Так вот, значит, как родились три шенкурские розы. Они перешли из традиционной древнерусской северной резьбы. Об этом говорит и графический, «деревянный» характер шенкурских роз. Преемственность декоративного мотива показала и интересной и знаменательной. Значит, не прерывалась старинная линия развития декоративного искусства, изменилась только техника украшения — применяться стала не резьба, а роспись и более современный материал. И исчез вазон — это явно при упрощении рисунка, когда стали прялки делать не для себя, а на продажу.

Я не мог и предположить, что подтверждение находки, сделанной в семье Сереги-хозяйственника, придет с совершенно неожиданной стороны.

Года через два после поездки по Шенкурско-

му району я рылся в фондах Вологодского краеведческого музея и просматривал старые книги с записями о прялках. Одна запись заинтересовала меня:

«Прялка деревянная, старинная, темнозеленой окраски, с написанным красками портретом молодой девицы».

Доводилось мне видеть прялки с зеркальцем на внутренней стороне, в которое смотрелась пряха, но, чтобы красавицу изобразил художник, этого я еще не видывал.

Разыскали необычную прялку. Портретик девицы оказался маленьким и от времени полустертым. Но роспись лицевой стороны поразила: изображался вазон и из него подымались одна над другой три розы. Ну ни дать ни взять — шенкурская роспись. А написано в книге: «Куплена 18 ноября 1926 года от гр-на Шишова в Кирилловском уезде б. Новгородской губернии».

Погоревал я, что некого расспросить о прялке, купленной сорок лет назад, как вдруг — вот удача! — неожиданно-негаданно встречаю бывшего директора Вологодского музея, без малого восьмидесятилетнего Философа Павловича Куропатникова. Расспрашиваю о необычной зеленой прялке с тремя розами — он ее хорошо помнит. Задаю вопрос прямо: могла она в Кириллов попасть из Шенкурска?

Говорит Куропатников:

— Купил я ее у Шишова, а это человек не оседлый и немного не в себе. Мог он ее и сам из Шенкурска привезти, а мог и просто в чужом доме взять, у тех, кто из Шенкурска приехал. Шенкурск-то не дальний край — в соседней губернии соседний уезд.

Разгадка последней из тайн пришла совершенно неожиданно.

Позвонил мне директор местного леспромхоза Добрынин Анатолий Федорович:

— Вот, говорят, вы стариной интересуетесь. Надо бы вам поговорить с одним занятым старичком. Это Федор Иванович Раков. Райкомовский шофер скажет его адрес, они ведь из одной деревни.

Через шофера Василия Егоровича условились мы встретиться на следующее утро, но не прошло и часа, как он привел Ракова ко мне.

— Не захотел ждать. Сам, говорит, пойду, — и шофер хохотнул, как всегда, тоненьким голоском: — Не терпится.

Маленький старичок осторожно уселся на скамью. Забавный, в кургузом пиджачке, широченных галифищах и командирских сапогах. Рыжеватые кудрявые волосы, чуть тронутые сединой, и красно-рыжие усы, лихо закрученные вверх, по-вильгельмовски, никак не соответствовали почтенному семидесятилетнему возрасту. Глухота давно поразила Ракова, но взамен появилась неудержимая страсть к писанию.

Недостатки своего образования Федор Иванович объяснял так:

— Четырехклассную церковноприходскую-то я бы окончил, да учитель у нас помер, вот один год ученья и запал. Я зачал сочинять и достал руководство Маяковского «Как делать стихи». Но там требуются знаки препинания и тому подобное, а у меня грамота, верно, низка...

Писал стихи он, не столько руководствуясь советами Маяковского, сколько вспоминая былины и заговоры.

— Вот, — сказал старик, вытянув из груды тетрадок узенькую и тонкую, — прочти «Пашню поляны».

Стихотворение начиналось так:

Поляна лежала за озером Керым
На острове звать Березове.
Ехать-то надо на плотике
Да со веслами до километра,
А гребцов-удальцов только два —
Отец да я...

Дальше рассказывалось, как пахали сохой, а лошадь, на которую сел маленький Федя, утянула его в реку и едва не утопила.

На одной тетрадке надпись: «Копии по части озер».

Старик пояснил:

— Я ведь все тридцать озер окрест знаю, много исследовал в смысле охоты и рыбной ловли.

Отдельная тетрадка посвящена теме: «Нерест (жира) разных рыб в весенний период и улов по годам (щука, язь, окунь, карась, лещ, сорога, плотва)». Двенадцать лет он собирал сведения о нересте и улове и все обстоятельно записывал.

Протянул еще одну тетрадку, за ней другую и сказал:

— Табель погоды. Веду с 1951 года. Хочу сгруппировать и сравнить температуру, направление ветра, ну и некоторые примечания. А это записи о своей работе.

Во второй толстой переплетенной тетрадке оказалось немало занятного. Простодушно перемежая важное и второстепенное, повинаясь своей страсти писать обо всем, Раков заносил для памяти всевозможные события:

«В 1909 году сего дня 1 ноября продал 25 штук белок, за коих получено 3 рубля. И рябчики ценою за пару штук 45 и 40 коп., а голностари¹ чисто белые 1 руб. штука».

«Работаю в день по 1 р. 17 к. с Иваном Селивановым по малярному делу».

«Брано в деревню денег на подштанники 5 рублей, на починку сапог 1 р. 30 к.».

«Вступил в брак в первый законный Федор Иванов Раков с Александрой Михайловной Селивановой».

Я не скучал, перебирая тетради, читая записи и беседуя с этим интересным и одаренным человеком, которому нужда и жестокие условия прежней деревенской жизни так и не позволили выполнить множество задумок. Остался он чудачком, а ведь, наверное, мог многое сделать, получи вовремя образование.

— Федор Иванович, а вы прясницы делали?

— Как не делал? Делал. Больше году этим занимался.

— А у вас не сохранилось хоть одной прялки вашей работы?

— Где-то валяется. Интересно взглянуть? Так я принесу, тут недалеко.

Он не торопясь встал, расправил широченные мешки галифищ и деревянной походкой подагрика ушел. А через полчаса вернулся, неся — что бы вы думали? — прясницу с соблазнившими меня тремя золотыми цветками и узором из широких, свободно написанных блекло-зеленых листьев «барокко» — ну точь-в-точь как те две прялки, которые я нашел в разных углах района — в Золотилове и Глухой Коскоре.

¹ Горностай.

— Ваша работа? —
не веря в удачу, пере-
спросил я.

— Моя.

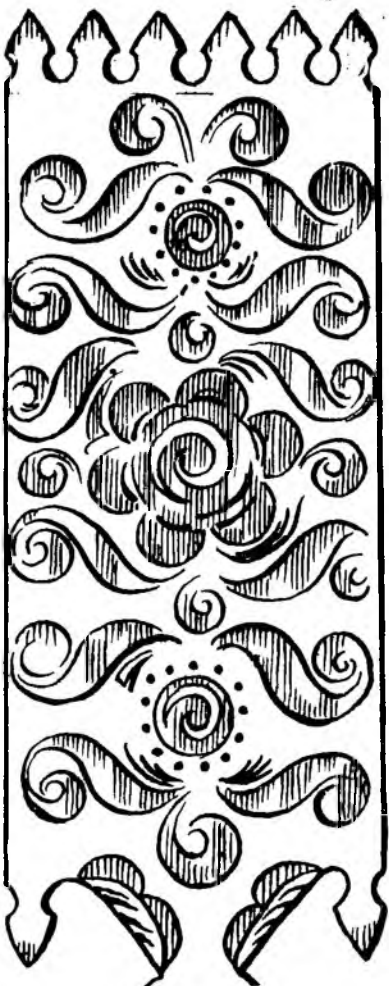
— Сами разрисовали?

— Сам.

И верно, сам. Вот и
доказательство в тетра-
дочках. Вперемежку с за-
писями: «Сделано себе
6 рам в переднюю из-
бу», «Ивану Жилкину
кровать лакова 3 р.»,
«10 сундуков для ярмон-
ки выручено 5 р. 45 к.» —
нахожу: «Сделано 4 пря-
сницы по 90 к.», а на дру-
гих страницах учет рас-
ходов: «10 штук досок
сосновых», «шкурки 4
листа», «Олифы на
16 копеек», «Краски му-
мии 1 ф. — 6 к.».

Поясняет старик:

— Это — первый ко-
лер для прясниц — му-
мия. А если посветлее, то
сурик. Бронзовый поро-
шок еще употребляли.
Белила и черную. Поку-
пали в сухом виде и ра-
стирали на столах.



Уточняю:

— А рисунок сами придумывали?

— Нет, — качает головой Раков. — У нас в деревне Келгозере, Федотовская тож, жил Кутышев Иван Васильевич, это рисунок его, а у меня от него картонка с прорезями — по ней я и делал.

Итак, обнаружен последний адрес, установлен последний из неизвестных ранее шенкурских мастеров.

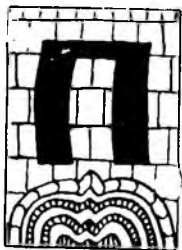
В Москве, на Петровке, где в старинных Нарышкинских палатах расположилась выставка русского народного декоративного искусства, среди трех десятков расписных и резных прялок появилась одна красная с тремя розами, вытянувшимися снизу вверх. О ней не знали ничего, кроме того, что приобретена она в Шенкурске, Архангельской области.

А я увидел ее и сразу вспомнил все: и чудское городище, и Глухую Коскору, и Речку, где говорили про Паромовых, и родину этой семьи мастеров—Нижнюю Едьму с овеянной студенными ветрами часовенкой, и, наконец, ту прялку-красавицу с розами и вазоном, которая так счастливо досталась мне от матери Сереги-хозяйственника.

...Исчезло еще одно белое пятно в истории русского народного декоративного искусства.

ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗАГЛЯДЕНИЕ

ВЕЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ



ПРОИЗОШЛО это пятьдесят лет назад.

Маленький пароходик плыл по реке Сухоне из губернского города Вологды в уездный город Великий Устюг. Бойко шлепали плиты колес, пароходик обгонял попутные и обходил встреч-

ные буксиры с лесом, сплоченным по-местному, «ершом», уступами. Пароходик высаживал крестьян на пристанях у деревень и набирал новых пассажиров.

Капитан заметил высокого юношу, который бродил по палубе и, любуясь, смотрел на проплывающие берега, а иногда вынимал альбом и рисовал.

— Путешествуете? — спросил он, когда молодой художник оказался возле него.

— Как вам сказать?.. — улыбнулся юноша. — Путешествую, потому что плыву и наслаждаюсь природой. Но, в общем-то, я возвращаюсь на родину.

— Вы местный? — удивился капитан.

У юноши был вид жителя большого города, а не далекой окраины.

— Возле Великого Устюга есть деревня Кузнецово. Там я и увидел свет, там живут и мои родители. Учусь я в художественном училище. И еду на каникулы... — он снова улыбнулся. — А путешествовать я люблю. Вот поживу в родной деревне, потом загляну к друзьям в Великий Устюг. Кроме того, есть одна мечта. Живу возле Сухоны, а знаю ее только вот так, с парохода. Хочется сесть в Тотьме на лодочку и до Великого Устюга проплыть не торопясь. Останавливаться, где захочется, рисовать, просто любоваться. Уж очень красивые здесь места!

— Вы и в самом деле художник! — сказал с необычной для него ласковостью капитан. Он не мог отнестись равнодушно к человеку, который любит родную Сухону.

Юношу звали Евстафием — это имя нередко встречается на севере. А мать, отец и друзья переименовали на польский лад — Стасик. И фамилию Стасик носил тоже вроде бы польскую — Шильниковский. Но полдеревни у них звались Шильниковскими, и объяснялось это просто: предки оказались выходцами из соседнего села Шильникова. Другая половина деревни — Кузнецовские, а жители неподалеку расположенного села Угол именовались Угловскими.

Стасик любил красоту во всем — в природе, картинах, лицах, зданиях, сказках. Не меньше любил он и путешествовать, может быть, потому, что во время поездок и пешеходных блужданий чаще любишь-

ся восходом и закатом солнца, мечтаешь, глядя на облака, где воздвигаются замки и бушуют белые бури, встречаешь случайного собеседника — соседа по ночлегу, который вдруг расскажет такую красивую быльищину, что вовек ее не забудешь.

Вечером, после долгого пути, Стасик Шильниковский увидел родной город Великий Устюг, — белые дома на крутом берегу, колокольни древних церквей, монастырские стены, за которыми некогда скрывались от врагов посадские люди. Недалеко — устье Юга, реки, соединяющейся с Сухоной и образующей Двину. Усть-Юг, Устюг — вот откуда пошло название города.

Основанный еще в XII веке выходцами из Ростова-Ярославского и Суздаля, город уважительно именовался Великим Устюгом. Не раз здесь собирались рати для далеких походов, и сам город часто становился жертвой разгромных набегов — то татар, то камских болгар, то своих же родичей-новгородцев.

Город лежал на важных торговых путях из Москвы и Новгорода на восток. С гордостью вспоминали о своем великоустюжском происхождении знаменитые путешественники-землепроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров, первооткрыватель Камчатки Владимир Атласов. В то время говорили: «Без устюжан в Сибири никакому делу не бывать».

Но порой жителям Великого Устюга и самим приходилось платить дань — десятки тысяч белок, сотни соболей. Город опустошали весенние наводнения, пожары лишали жителей крова, частые неурожай заставляли голодать.

Все пережил Великий Устюг: и беды свои, и славу свою. К концу XIX века путешественники уже не писали, как раньше, что «город Устюг в числе наилуч-

ших городов не только Архангелогородской, но и в других губерниях находящихся, почитаться может». Нет, стал он маленьким, тихим уездным городком. И только немеркнущая красота, созданная еще предками и хранимая современниками, осталась в старинной архитектуре да в народных художественных промыслах. Самый знаменитый из них — северная чернь.

Об этой черни неожиданно и зашла речь у Стасика Шильниковского, когда он разговаривал с приятелями, встречавшими его на пристани.

Вот уж, кажется, и все новости сообщены: о том, кто из друзей приехал на лето домой, кто навсегда покинул Великий Устюг и перебрался в столицу, кого постигло несчастье — пожар.

И вдруг один приятель сказал Стасику:

— Да! Ведь ты всегда интересовался чернью. Помнишь мастера Чиркова Михаила Павловича? К нему приезжали какие-то англичане и предлагали пятнадцать тысяч. Открой, говорят, секрет черни.

— А он что? — спросил Стасик Шильниковский. Ему не хотелось, чтобы даже часть славы Великого Устюга уплыла куда-то за моря.

— Отказался! — со счастливым смехом, сам радуясь такому исходу необычного дела, ответил приятель.

Стасик Шильниковский действительно всегда интересовался северной чернью.

Чернь — это своеобразный способ украшения серебра. Мастер берет металлическую пластинку для брошки, чарку, солонку и гравировывает, вырезает на них узор. Но это еще только ползаботы. Надо сделать так, чтобы выгравированный рисунок отлично выделялся, стал черным и этот цвет не сходил. Выгравированный узор покрывают для этого черной кашицей — смесью

смолотого в порошок и смоченного водой состава: серебра, свинца, меди, серы, поташа, буры и соли. Серебряный предмет с узором накаляют, черневая смесь, наложенная на него, плавится, заполняет углубления — бороздки гравировки — и припаивается к серебру. Лишнюю чернь счищают, шлифуя, и на серебре остается красивый черный рисунок, который невозможно уже уничтожить.

Посмотришь — как будто прежняя серебряная пластинка, прежняя ложка, а от черногого рисунка она стала нарядной, узорной. Ее и в руках-то держать приятно!

Кажется, известен состав — возьми и сделай. Но создание черни — это тайна немногих. Все дело в том, как смешать, в какой пропорции, в какой последовательности и когда перестать плавить. Мастера, которым досталась эта тайна, передаваемая из поколения в поколение, берегли ее пуще глаза.

Золотые и серебряные украшения с чернью делали на Руси давно. Когда близ Смоленска археологи раскапывали древние погребения в кургане, названном «Черная могила», они нашли там вещи, выполненные тысячу лет назад: перстни, нож, оковы для турьих рогов — и всё с чернью. Особенно красивой оказалась отделка турьих рогов, из которых в то время пили вино, как из кубков. Можно увидеть фигуры людей, орла, борющихся драконов, собак, волка, петуха. Об уменье русских мастеров готовить чернь писали с завистью немецкие историки X века.

Серебряные черниговские перстни и украшения турьих рогов с чернью эпохи Святослава и церковные черненные предметы Киевской Руси хранятся в музеях. Они остались памятниками уже исчезнувших художественных ремесел. Но великоустюжские ювелиры —

граверы, черневики, позолотчики — сумели до наших дней донести удивительное мастерство.

Возник и закрепился этот промысел в Великом Устюге потому, что через город, лежащий на большом торговом пути, не только везли из Сибири серебро, но и создали здесь большие склады этого драгоценного металла. Сырье оказалось под рукой, а умельцев-художников на Руси всегда отыскать нетрудно.

В XVIII веке изделия великоустюжских мастеров черни особенно славились. Существовала в городе фабрика братьев Поповых, выпускавшая, как тогда писали, «разные курьезные вещи» с черневым украшением и металлическое литье с разноцветной эмалью, так называемую «финифть». В старинных бумагах можно найти упоминания о многих искусных мастерах. Одного из них, Климшина, даже вызвали в Москву — учить тамошних златокузнецов. Прославились также Жилины, Гущины, Моисеев и другие. Про мастера Михаила Наводчикова рассказывают целую историю. Этот устюжанин умел делать очень красивые табакерки из серебра с чернью. Но друзья, надумавшие поехать по белу свету, уговорили его, и он вместе с известным путешественником Берингом отправился в Сибирь искать новые земли. Испокон веков молодежь тянется к неизведанному. Путешественники обнаружили неизвестные дотопе острова. Карта с обозначением этих островов потребовалась в сенат. Вот тут-то опытному устюжскому граверу Наводчикову и пригодилось его умение: он отлично начертил карту.

Стасик Шильниковский не забыл рассказа об англичанах, пытавшихся купить секрет черни, и, когда обосновался в Великом Устюге, решил зайти к мастеру Михаилу Павловичу Чиркову. Отец рассказывал Стасику, как Чирков стал гравером и черневиком,

По матери Чирков приходился внуком известному в середине прошлого века великоустюжскому мастеру Михаилу Ивановичу Кошкову, человеку непомерной гордости, но и удивительного таланта.

Кошков являлся единственным в те времена мастером, владевшим тайной «черни вечной прочности». В девятнадцать лет он уже работал самостоятельно и имел мастерскую. За свою долгую, восьмидесятилетнюю жизнь Кошков создал много красивых изделий. Петербургские, московские и местные богачи часто просили его сделать либо серебряную посуду с чернью, либо стопки, либо перстни. Кошков даже выполнял заказы трех русских императоров.

Приехал в Великий Устюг какой-то великий князь, и захотелось ему побывать у старого мастера: об удивительной работе Кошкова знали и в столице.

— А чернь не отлетит? — спросил важный гость, рассматривая готовую брошку.

Он не понимал, что этим сомнением наносит кровную обиду мастеру.

Кошков исподлобья посмотрел на князя, молча взял серебряную брошку с уже нанесенным на нее черневым узором, положил на наковальню и с размаху ударил молотком. Он бил, не жалея сил. Великий князь видел, что брошка расплющивалась, становилась длиннее и шире. К его величайшему изумлению, равномерно увеличивался и черный рисунок.

Мастер отер рукавом лоб, покрытый каплями пота, и протянул князю брошку. Ни единого кусочка черни не выпало, а рисунок расплылся во все стороны.

Так Кошков наглядно показал, что такое его «чернь вечной прочности».

Немало других великоустюжских мастеров, тоже работавших с чернью, старались узнать секрет Кошкоба, но старик не прельщался на деньги и молчал даже во хмелю, если его пытались спойть в расчете, что авось да он проговорится.

Миша Чирков попал в обучение к деду, но несладко ему пришлось. Ведь тогда, хоть ты чужой, хоть родной, все равно шел ученик к мастеру в кабалу, в услужение. Сейчас уже нет в живых людей, которые могли бы рассказать о том, как в прежнее время учили. Но в архиве сохранились интересные документы — свидетели прошлого. Вот, например, одно из «договорных писем», направленных в Великоустюгскую цеховую управу серебряного ремесла. Оказывается, отданный «для совершенного обучения серебряному черневому мастерству» мальчик обязан был как хозяину, «так и домашним его быть верну, послушну и почтителну и тому сребряному черневому и белому ремеслу обучаться прилежно и до... срока... прочь не отходить... и без дозволения из дому его никуда не отлучаться». Хозяин же брался обучать ремеслу, платить за ученика «подушные», то есть налог, «а притом обувать и платьем одевать. Шапку, рукавицы, а летом шляпу и рубашку и подобувки... иметь свои и тем быть довольну».

Вот так же пришлось «тем быть довольну» и Чиркову, поступившему учеником к деду.

В первые годы ему и времени не оставалось смотреть на работу мастера. Как было заведено для учеников, носился он на побегушках, помогал по дому.

То и дело слышалось:

— Мишка, опять воды нет! А ну живо к колодцу!

— Мишка, а ну раздуй самовар!

— Мишка, где тебя нечистая носит! Беги за водкой в кабак!

И парень вертел колодезное колесо и тянул воду, щепал лучину, бегал за водкой и, пользуясь старым хозяйским сапогом, как мехами, раздувал полוזатухшие угли в самоваре. Хозяин считал, что самовар на столе обязательно должен «петь».

Только пообвыкнув малость, ученик стал в свободные минуты приглядываться к тому, что делал дед.

Начало работы для Кошкова являлось таинством, событием огромного значения. К мастерству он относился с трепетным уважением. Несколько дней постился, шел в баню и уж только после этого, запершись в комнате и проверив, плотно ли закрыты двери и даже ставни на окнах, приступал к составлению черни. Он долго смешивал составы — «колдовал», как говорили завистники.

Зато, когда Кошков брал в руки резец, он сам звал внучонка:

— Поглядывай, малый!

И малый «поглядывал».

Так прошло восемь лет. За это время Кошков убедился, что внук расторопен и трудолюбив. Он сказал: «Будешь подмастерьем!». Положил жалованье восемь рублей в месяц. А потом решил, что именно Михайле Чиркову, а не кому-нибудь другому передаст секрет мастерства и тайну черни. И передал, взяв клятву, что малый языком зря болтать не станет, а во благовремени научит, в свою очередь, самого достойного из тех, кого встретит.

С тех пор в Великом Устюге два мастера владели секретом «черни вечной прочности» — старый и молодой.

После смерти деда трудно пришлось Чиркову. Не всегда мог он найти заказы: ведь обычно работу выполняли из серебра заказчика. Волей-неволей приходилось идти на уступки купцам, делать вещи по их вкусу и против своей воли — все больше шаблонные цветочки.

Ну, да ведь кто платит, тот и музыку заказывает.

Зато когда Чирков мог делать то, что ему хотелось, что подсказывал его вкус и опыт, он создавал удивительные произведения: ножи, ложки, табакерки. Как и прежние великоустюжские гравёры, он часто на браслетах, салфеточных кольцах, линейках изображал родной город и делал это вдохновенно, с любовью. Располагал на драгоценных предметах самые известные здания — церкви, монастыри, красивые дома, рисовал набережную, реку Сухону. Чирков умышленно увеличивал горки и овраги, а задний план давал несколько условно, примерно так, как это делали на старых гравюрах. Этим приемом он хотел подчеркнуть, что Великий Устюг город старинный, исторический.

Чирков рисовал и вырезал символические фигуры, охотничьи и нравоучительные сцены, заимствуя их из разных книг того времени.

Иногда, как это тоже было принято в Великом Устюге, Чирков золотил фон. А чтобы золото не слишком сияло, чеканил его мелкими точками, приглушая цвет.

Вот к этому-то известному в городе мастеру и собрался Евстафий Шильниковский.

Домик у старого мастера стоял, как тогда говорили, «во второй части» — на северной окраине города. Молодого студента-художника Чирков встретил приветливо. Да он и вообще-то отличался гостеприим-



ством, добродушием и веселостью — не в пример своему гордому деду.

— Решил заглянуть, — объяснил свое появление Шильниковский. — Хочу спросить: правда ли, нет ли, что англичане предлагали вам пятнадцать тысяч за секрет черни? А?

Чирков усмехнулся, погладил бородку, снял очки, которые надевал во время работы, неторопливо набил табаком неразлучную трубку, пыхнул дымком и сказал:

— Ну, хоть не пятнадцать, а десять — вот это верно. Еще могу добавить: с собой в Англию жить звали. А как это я продам то, что своим искусством добыли деды и прадеды? Как от своей Сухоны, из родных мест уеду? Чудаки!

Чирков вынул из ящика браслеты. Один с видом Великого Устюга показался Шильниковскому особенно хорош. Этот мотив очень любил выполнять и Кошков.

Вынул Михаил Павлович и чайные ложечки с выведенным чернью цветочным орнаментом.

На том, собственно, первая встреча и закончилась. Собирался Шильниковский и еще наведаться, да все как-то оказывалось недосуг. Второй раз они повидались уже после революции, в конце двадцатых годов. При участии Михаила Павловича Чиркова в Великом Устюге создали артель чернения по серебру. Евстафий

Шильниковский к тому времени уже закончил обучение в Академии художеств по классу знаменитого художника-гравера Василия Матэ и успел поработать в Великоустюжском отделе народного образования инструктором по изобразительному искусству. Он писал плакаты, резал гравюры на линолеуме для местной газеты, писал декорации для городского театра. Человек энергичный, он успевал всюду и работал в полную силу.

Как-то встретился он с Михаилом Павловичем Чирковым.

— Евстафий Павлович, я ведь теперь художественный руководитель артели, — сказал старый гравер. — Не сделаете ли несколько рисунков для нас?

Шильниковский знал, что мастера в артели нередко заимствовали узоры из разных журналов и поэтому в стиле получался разнобой, несоответствие одной части рисунка другой. С этим следовало бороться.

— Соображу что-нибудь на досуге! — с готовностью ответил Шильниковский.

Через несколько дней он принес четыре цветочных рисунка, строго выдержанных в великоустюжских традициях: на черном фоне — серебряные цветы в узорном окружении острых листьев.

Чиркову они понравились, и он пустил рисунки в производство.

И не думал тогда Евстафий Павлович, что это и станет его призванием, началом большой работы, а все, что он делал до того, окажется только подготовкой к настоящему делу.

Потом еще раз произошла встреча.

— Из Китая получен большой заказ. Для народных нужд, — сообщил Чирков.

Любопытства ради Шильниковский поинтересовал-

ся заказом. Оказалось, надѡ сдѣлать много столовых и чайных ложек для Синьцзяна, северо-западной провинции Китая. Даже там знали о мастерах Великого Устюга.

Евстафий Павлович подумал: а ведь это интересно! Можно использовать китайские мотивы, которые привлекали Шильниковского еще во время учения в Академии художеств, — дать крупные цветы, бабочки, более смело сочетать чернь и серебряные узоры.

И он согласился на предложение Чиркова, обещав представить эскизы.

«Коготок увяз — всей птичке пропасть!» — шутил потом Евстафий Павлович. Но художник не пропал, а, наоборот, нашел себя. Вот уж истинно не знаешь, где найдешь, где потеряешь! Помог богатый опыт, полученный Шильниковским в мастерской знаменитого гравера Матэ. Впрочем, многие сложные задачи приходилось решать, основательно поломав голову, — у прикладного декоративного искусства есть особенность: надо учитывать, что украшается бытовая вещь, имеющая практическое назначение.

Евстафий Павлович приглядывался к артели «Северная чернь». Конечно, Чирков большой мастер, но он уже стал уставать: семь десятков лет не шутка.

Мало-помалу художественное руководство артелью переходило к Евстафию Павловичу Шильниковскому. Дела оказалось хоть отбавляй: разрабатывать рисунки к новым вещам, готовиться к выставкам, и отечественным и заграничным, учить молодежь.

Евстафий Павлович с уважением отнесся к традициям великоустюгского черного искусства. Он знал, что мастера любили вплетать в узор цветы, изображать пейзаж, а то даже и сценки. Как не вспомнить

панораму Великого Устюга или картинки, навеянные иллюстрациями из старых книг?

Иногда получались и срывы и неудачи, но Шильниковский все-таки выбрал верное направление. После работы над китайскими вещами он создал рисунки к пушкинским сказкам, басням Крылова, «Коньку-горбунку». Заинтересовали его и современные северные мотивы, тем более, что другой художник, Михаил Дмитриевич Раков в своих рисунках уже дал великоустужским граверам несколько северных тем.

Советы Чиркова Шильниковский выслушал внимательно. А старый мастер говорил:

— Отделывать надо каждую форму. Штрих делай четкий и определенный.

Не сразу далась техника Евстафию Павловичу. Чирков смотрел иногда, как трудится Шильниковский, и требовал:

— Дай-ко я сам сделаю.

Евстафий Павлович любовался свободной манерой мастера и, как говорится, наматывал себе на ус.

Всемирные выставки в Париже и в Нью-Йорке принесли большой успех и артели и Шильниковскому: от туда пришли медали и дипломы.

Евстафий Павлович работал с удовлетворением и даже радостью. Происходил интереснейший процесс: воспитанник Академии художеств стал душой художественного народного промысла, кустарной ювелирной артели.

И еще в одном проявились черты нового: в том, как распорядился секретом черни Михаил Павлович Чирков.

Жила в Великом Устюге девочка Маша Угловская. Ей едва исполнилось тринадцать лет, когда она подо-

шла к мастеру Амосову, одному из тех, кто знал секрет черни, хотя и не самой лучшей.

— Что тебе, пигалица? — добродушно спросил мастер.

— Научите меня чернь составлять, — выпалила девочка.

— Тебя?! — удивился Амосов.

Он смотрел на девочку, не понимая. А не шутит ли она, подговоренная кем-нибудь из недоброжелателей? Среди старых мастеров по-прежнему сохранилось «секретничанье»: они скрывали все, что касалось техники производства.

Увидев, что девочка говорит искренне и всерьез, Амосов ответил:

— Не было еще того, чтобы девки и бабы чернь понимали. Иди, не гневи меня.

И Маша ушла от Амосова, хотя ей казалось обидным, что в советское время мастер говорил с ней так. В артель она все-таки устроилась. Училась гравировать — сначала на меди, потом на серебре. Упорная и способная, она старалась делать все как можно лучше. Гравер обязан хорошо рисовать — после работы она часами просиживала с карандашом и бумагой, изучая и перерисовывая старинные узоры, ходила в местный музей, где хранились работы Кошкова и Чиркова.



Михаил Павлович Чирков, часто подумывал: кто же воспримет от него секрет «черни вечной прочности»? Росли у него два сына и две дочери. Девушки вышли замуж — им не до серебра и черни, у них другие интересы. А сыновья... Горько было Чиркову признаться, ни Костя, ни Коля по-настоящему не оценили отцовского таланта и не собирались стать художниками-граверами. Им ли оставлять секрет? Дед завещал: «Передай самому достойному». И Михаил Павлович тоже считал: «Тут надежный человек нужен».

Подкатывался, правда, позолотчик Корсаков, тоже из мастеров старого закала, вроде Амосова. Самолюбие не позволяло ему спросить у Чиркова, и он уговаривал девушек, подручных старого гравера:

— Вы припустите мне своей чернью, а Михаилу о том не сообщайте.

А те ничего не скрыли от Чиркова.

Михаил Павлович, узнав о домогательствах позолотчика, отчитал его:

— Не совестно ты живешь, Егор. Сам добивайся, а молодых в грех не впутывай.

Машу Угловскую Чирков уже заприметил. Его не смущала, как Амосова, мысль о том, что чернение — это не женское дело. Напротив: ему казалось, что у девушек даже больше усидчивости, аккуратности, точности — всех тех качеств, которые особенно нужны для изготовления черни.

В артели заговорили, что пора бы кого-то прикрепить к Михаилу Павловичу для передачи секретов составления и плавки черни. Чирков согласился с этим и сразу назвал:

— Машу Угловскую.

Никто не возражал. Машу уже успели узнать и полюбить. На общем собрании по всем правилам утвердили эту кандидатуру. Понимали мастера, что передача секрета — событие немаловажное.

Два месяца учил Михаил Павлович Чирков девушку.

Он брал пластинки меди и свинца, плавил их в тигельке, превращал в порошок. Велел запоминать, сколько для первого раза полагается брать серы и как после этого добавлять серебро. Потом учил частями сноба засыпать серу.

— По времени тут нельзя рассчитать, — втолковывал он. — Если огонь не сильный, то и чернь не готова, лучше ее подварить.

Маша старалась отличить по цвету: не готово ли?

— Не отличишь, не пытайся: красная и красная. А вот если густеет, значит, перекипать начинает.

Надо, чтобы чернь была гладкая, без морщинок и особенно без «мориночек» — мелких дырок, будто наколотых иголкой. И надо, чтобы с чернью легко работалось: мастеру должно быть удобно.

— С маху-то ее составят, — поучал Чирков, — наложат, примутся напильником ровнять, а она пластами отпадает. Передержишь на огне — тоже плохо: не плавится и не ложится на изделие.

Через два месяца Угловская уже самостоятельно составляла и плавila чернь. На общем собрании членов артели ей присвоили звание мастера, — это стало праздником и для Чиркова. А ему до конца жизни установили почетную персональную пенсию. Он сидел тогда в зале и вспоминал свои восемь лет учения у деда, зуботычины и ругань. В памяти возникало и то, как колот он дрова и месил тесто, бегал за цолбутыл-

кой подмастерьям и как ему приходилось «тем быть довольну». Да, другие времена — другие песни!

А ведь верно, песни были другие. Мария Алексеевна Угловская стала заведовать производством, потом ее выбрали руководить артелью. Когда вышла замуж и решила уехать в Москву, Угловская-Сычева обучила хорошего гравера Манефу Дмитриевну Кузнэцову. Та, в свою очередь, тоже подготовила смену: рассказала о секрете молодой мастерице Гале Фатеевой. Как и ее учитель, Угловская-Сычева говорила, что «по времени тут рассчитывать нельзя», что «по цвету не отличишь», а надо следить за густотой и что следует бояться морщинок и «мориночек».

«Запевалой» новых песен все-таки следует считать Чиркова: с его легкой руки женщины в Великом Устюге завладели тайнами «черни вечной прочности».

...Каждое утро, придя в большое двухэтажное здание «Северной черни», Евстафий Павлович отправляется в обход по комнатам. В секторе заготовки он смотрит, как делают из серебра крышки для портсигаров, стопки, кубки, кольца и брошки. Взглянет на полировку вещей и на то, как граверы, расположившиеся в двух больших залах, вырезают рисунок. Великоустюжские цветы, конечно, еще сохранились в рисунках — традиции не стоит забывать, цветы красивые, — но появились новые сюжеты: виды Москвы — Кремль, памятники Минину и Пожарскому, темы «Изобилие», «Мир» и другие, близкие и понятные советским людям. Манаера же, стиль остались великоустюжские — те, которые вырабатывались веками.

У трех печей горят керосиновые факелы — мастерицы держат изделия щипцами, накладывают деревян-

ной лопаткой чернь. За две-три минуты она плавится на огне и быстро застывает. Двадцать девушек снимают лишнюю чернь напильниками, чтобы потом другие мастерицы подчищали грифелем. Отдельные места, где того требует рисунок, золотят. Затем наступает очень ответственный процесс — «вторая выснимка»: убирают лишнее золото и ненужную чернь. Теперь остается только отполировать, и драгоценные предметы готовы.

На столах и полках — тысячи подстаканников, портсигаров, пудрениц, ложек, стопок, солонок, брошек, колец, ручек для ножей и вилок. Вещи подготовлены к отправке во все концы страны и за границу. Если посмотреть в лупу на каждую вещь, то возле знака пробы, отмечающего качество серебра, можно увидеть и две маленькие, с маковое зернышко, буковки «СЧ». Это значит «Северная чернь» — марка фабрики.

Шильниковский идет к себе в светлую комнату с большими окнами — пора заканчивать еще один рисунок.

Евстафий Павлович работает, склонившись над листом бумаги, а мысли не дают покоя — директор говорит: подыщите хороших, способных паренька или девушку, пошлем учиться в Москву — будет со временем смена художественному руководителю. Ох, как это верно! Пожалуй, некоторые рисунки выглядят уже



старомодно. Нужно учитывать новые вкусы. У Евстафия Павловича есть кое-кто на примете. «Показать-то я все, что знаю и умею, покажу, — думает он. — Но обязательно и расскажу: и о фабрике братьев Поповых и о Кошкове, и о Чиркове, и о том, что сам добился».

Великое это счастье — взять красоту, рожденную народом, и вернуть ее народу же. В этом — вечная прочность искусства.

ЗОЛОТЫЕ НИТИ



ТИ пять историй произошли в разное время, с разными людьми, но их связывает одно: все они имеют самое непосредственное отношение к золотошвеям из Торжка.

I

Императрица Екатерина II скучала. Скука томила ее нередко, и, рисуясь, писала она однажды французскому философу Вольтеру:

«Скука есть моя участь... она всегда сопутствует царям».

Перед императрицей сидела робкая некрасивая, но милая девушка в обычном русском сарафане и вышивала. Игла с золотой крученой ниткой быстро сновала по голубому бархату. Рядом лежали уже готовые ку-

ски материи с вышитыми тюльпанами, путаницей трав и звездами, похожими на снежинки.

Екатерина чуть скосила глаз, она не торопилась разглядывать узор: пусть мастерица закончит.

Если бы бывшая ангальт-цербтская принцесса, волею случая ставшая императрицей всея Руси, спросила, когда и как зародилось в необъятной и новой для нее северной стране это удивительное искусство, ей не смогли бы ответить. Никто этого не знал, да в ту пору и не интересовался.

Поговаривали, что еще в IX веке на русских землях имели хождение своеобразные деньги — кожаные лоскуты с золотой вышивкой. Клады таких монет обнаруживали в разных местах, нашли их в Торжокском кремле. В далекую пору, судя по древним рукописям, княгиня Ольга вышивала золотом. Этим искусством владели и другие знатные русские женщины: Янка, по прозвищу Монахиня, дочь князя Всеволода, жена князя Владимира; княгиня Мария Тверская и сестра Бориса Годунова Ирина. Да только ли знатные? Простые мастерицы не удаивались упоминания в летописях, а ведь не княгини вышивали хотя бы те же кожаные деньги!

Золотые нити украшали пологи, даримые церквям. А позже богатые люди — цари, бояре, вельможи — стали заказывать искусным мастерицам для себя выходную одежду, расшитую золотом: любо покрасоваться на пирах в таких нарядах! Князь Даниил Галицкий (XIII век) щеголял в зеленых, шитых золотом сафьяновых сапожках. Среди одежды Ивана Грозного и его сыновей было много украшенных золотым шитьем кафтанов, шапок и кушаков. Вышивать золотом считалось обычаем в каждом богатом доме.

У себя на родине Екатерина — тогда еще бедная принцесса Софья-Августа-Фредерика — мечтала о платье, шитом золотом. Что-то сумеет сделать простушка-девушка, которую для развлечения императрицы затребовали из Торжка?

А девушка создала чудо из чудес.

По голубому бархату раскинулся удивительный узор. Тюльпаны, которые Екатерина успела заметить, скосив глаз, теперь превратились в сказочный золотой цветник. Золотые травы, казавшиеся запутанными, получили свой строй, как задушевная песня. А звезды, большие и малые, — тысяча звезд — образовали вечернее небо. Они мерцали и переливались далеким голубовато-золотым огнем.

Шитое золотом парадное платье понравилось императрице. В градеробах у нее хранились тысячи нарядов, один богаче другого, но Екатерина отметила платье, вышитое скромной торжокской девушкой. Она надела его, чтобы принять высоких послов с Запада, она явилась в нем на бал.

Но, когда пришло время отпустить мастерицу обратно в тверские земли, в город Торжок, Екатерина чуть скривила губы.

— Ты сотворила красивый вышивка! — коверкая все еще чужие для нее русские слова, сказала императрица. Потом улыбнулась и добавила: — Хотя сама ты не есть красива.

Девушка вспыхнула.

— Я имею желание наградить тебя! — заметив обиду мастерицы, милостиво произнесла Екатерина.

Она протянула горсть больших серебряных рублей со своим изображением. Женщина умная, властная, но своенравная и капризная, она любила блеснуть щед-

ростью, равно как и другими похвальными качествами.

Едва девушка из Торжка покинула дворец, Екатерина II распорядилась:

— Красивую вышивку должны выполнять красивые мастерицы. Разве нет на Руси красавиц? Надо их послать в Торжок.

Сколь ни сумасброден был приказ императрицы, ее слово — закон. С разных концов России в Торжок направили красивых крестьянских девушек-вышивальщиц.

Многие плакали, расставаясь с близкими, но ослушаться не смели: время было жестокое, а императрица хотя и причисляла себя к «аристократии духа», легко по самому пустяковому поводу впадала в гнев.

Не раз потом, по дороге из Петербурга в Москву, императрица заезжала в Торжок. Для нее выстроили там даже «Путевой дворец».

Своих красавиц она не забыла. Но, увидев однажды, как торжокская девушка сидела на скамеечке с юношей и весело смеялась, Екатерина нашла это «безнравственным». Когда же, совершая прогулку по городу, она заметила парочку и на соседней улице, возле другого дома, немедленно приказала позвать правителей города.

— Это есть позор! — повысив голос, отчитывала она трясущегося градоначальника. — Вот моя воля: такой гуляний прекратить. Если же не будет выполнять запрещение — парни собрать и каждого десятого пороть! — Она строго поглядела на замерших в страхе торжокских властителей и закончила визгливо: — Розгами!

О том, что произойдет в дальнейшем, императрица приказала донести ей.

И угодливые «отцы города» сообщили, что «виновные» в острастку другим выпороты.

Ни в чем не повинных парней из Торжка с тех пор по всей Тверской земле стали звать «драными».

А Торжок, известный золотошвеями, всегда славился и красавицами. Как красочно описывает молодую жительницу Торжка из богатой семьи писатель Лажечников в известном историческом романе «Ледяной дом»!

Право, стоит привести это описание:

«Вот статная, красивая девушка из Торжка, с жемчужным венцом, наподобие отсеченной сахарной головы; он слегка прикрыт платком из тончайшей кисеи, которого концы, подвязав шею, прячутся на груди. На лоб опускаются, как три виноградные кисти, рязки из крупного жемчуга, переливающего свою млечно-розовую белизну по каштановым волосам, слегка обрисованным; искусно заплетенная коса, роскошь русской девы¹, с блестящим бантом и лентою из золотой бити, едва не касается земли».

«Ловко накинула девушка на плечи свой парчовый полушубок, от которого левый рукав, по туместной моде, висит небрежно; из-под него выказывается круглое зеркальце, неотъемлемая принадлежность н о в о т о р ж с к о й красоты. Богатая ферзь ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьянных черевичках, шитых золотом».

¹ В Торжке есть поговорка:

Ты расти, расти, коса,
до шелкова пояса;
вырастешь, коса,
будешь городу краса.

Красоту торжокских молодых отмеча-
ли и другие писатели.
А торжокский кра-
евед А. Суслов и одна
из старейших деятель-
ниц золотошвейного
дела Клавдия Василь-
евна Хилевская писа-
ли мне, что помнят
много удивительных



красавиц. Да я и сам видел их, красивых девушек —
торжокских мастериц, когда был в Торжке.

Красавицы, собранные по повелению Екатерины,
научились мастерству у торжокских вышивальщиц, —
кто знает, может быть, праправнучек тех искусниц,
что обучили и жену князя Владимира, и Ирину Году-
нову, и княгиню Марию Тверскую. Наученные же пе-
редали это искусство по наследству.

II

С семьей Вяземских Пушкина связывала давняя и
нежная дружба.

Петра Андреевича Вяземского великий поэт знал
еще с лицейских времен. Свое доброе и уважительное
отношение к нему он выразил потом в четверости-
шии:

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

Упомянул поэт о Вяземском и в «Евгении Онеги-
не».

Жену Петра Андреевича, Веру Федоровну, Пушкин встретил в Одессе, где она отдыхала с детьми. Их дружба связана с необычными событиями.

Император Александр I приказал за «вольномыслие» выслать поэта на север. Пушкин решил бежать за границу. И тогда не кто иной, как именно Вяземская старалась достать ему денег на дальнюю дорогу и устраивала на корабль, отплывавший в Турцию. Но из этой затеи ничего не вышло, и Пушкин вынужден был отправиться в ссылку, в Михайловское, псковское имение родителей.

Осенью 1826 года новый император Николай I вызвал поэта в Москву. Возвращаясь обратно в Михайловское, Пушкин задержался в Торжке.

Он знал этот маленький городок Тверской губернии по своим прежним поездкам и по книге Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», любил заглянуть в местный трактир Пожарского, где жарили такие вкусные — «пожарские» — котлеты.

Не оставалась секретом для Пушкина и главная достопримечательность Торжка — удивительное золотое шитье по сафьяну и бархату. Вера Федоровна Вяземская просила купить в Торжке и прислать ей вышитые пояса, и Пушкин с готовностью взялся выполнить это поручение.

Пояса, или, как тогда говорили, «поясы», были куплены и отправлены в Москву.

С дороги Пушкин писал Вере Федоровне:

«Спешу, княгиня, послать вам поясы...»

А еще через неделю, уже из Михайловского, в письме к Вяземскому спрашивал:

«Получила ли княгиня поясы и письмо мое из Торжка?»

В конце послания он снова вспоминал о своем торжокском подарке и шутил:

«Ах! каламбур! Скажи княгине, что она всю прелесть московскую за пояс заткнет, как наденет мои поясы».

Видно, работа торжокских золотшвей была действительно хороша, если Пушкин отзывался о ней столь лестно.

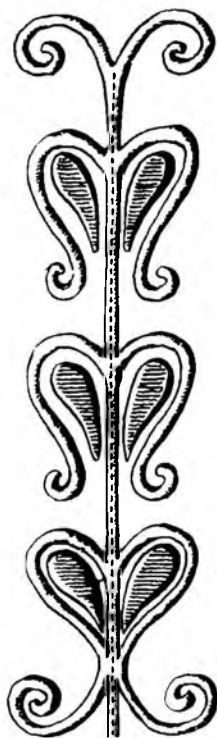
Так торжокское золотое шитье снова вошло в историю, — теперь вместе с именем великого русского поэта.

Об этом шитье еще не раз мелькнет у русских писателей добрая строка.

Одну из глав «Войны и мира» Лев Толстой начал описанием ямщицкой станции в Торжке, куда к Пьеру Безухову пришла местная жительница, предлагая купить вышитые туфли.

Лесков писал о шитых золотом торжокских рукавицах.

Поэт пушкинской поры Веневитинов упоминал о шитье. А великий драматург Александр Николаевич Островский, собирая здесь материал для «Грозы», любовался красивым вышитым нарядом девушек-красавиц и долго об этом помнил. А что за красота, если ее не помнят всю жизнь и не рассказывают о ней другим?



III

Мне не раз доводилось встречаться с торжокскими искусницами.

...Говорок у Клавдии Яковлевны певучий, старинный. А сама она словоохотлива. Всех называет на «ты», по-свойски, по-дружески. Рассказывает неторопливо, в добрых глазах ее нет-нет да и мелькнет смешинка: мол, не со зла шучу, а для ласки.

— У меня возраст округлый — семьдесят лет. По паспорту-то меньше: я еще давно убавила года. При старом строе стариков на работе не почитали, они в забвение оставались. Это теперь, при советской власти, другое положение. Отец у меня глину возил для гончарных нужд, а тетки вышивали. И я без малого шестьдесят лет тружусь с иголкой да шилом. Все больше для церквей вышивала — митры, плащаницы, ризы и всякие другие наряды, — сейчас и названия-то даже позабыты. Чисто-начисто следовало исполнять работу: боже избави, на левую сторону золотинку пропустить!

Жил у нас в Торжке Дмитрий Дмитриевич Романов, хороший человек. Именьице у него маленькое находилось неподалеку. Образование он получил в Париже, видишь ли. Оттуда же навез к нам в Торжок семян всяких растений, все пробовал привить на русской земле. Ну что ж, удавалось. Парк вокруг его дома — просто райские кущи. Рабстал он в земстве и рассуждал очень даже по тем временам смело, так что за свои справедливые мысли состоял под постоянным наблюдением у полиции. Золотым шитьем интересовался. Нам давал добрые советы: «Вы, говорит,

про торжокские приемы не забывают и у природы учиться — она щедра и на узоры и на краски». В ту пору вскрылось крупное безобразие: царское морское ведомство заказывало шитье для адмиралов и офицеров — на мундиры, погоны и фуражки, а матросикам — нарукавные знаки. Подрядчики и сплутовали: в ведомостях ставили серьезные цифры, а мастерицам платили гроши. Скандаль замляли — ворон ворону глаз не выклюнет. А Дмитрий Дмитриевич предложил: «Надо при земстве создать кустарный отдел. Пусть злотошвей сдают туда свою работу чтобы никто их трудовой копеейкой не пользовался».

Так и поступили в тысяча восемьсот девяносто четвертом году.

Вот этот самый Романов как-то мне говорит: «В воскресенье поедешь работать ко мне в имение. Будут еще три мастерицы». И верно: приехали, кроме меня, Клавдия Цигловская, Настя Егорова, четвертую забыла — нись Седова, нись еще кто. Всем нам тогда едва по шестнадцать исполнилось, совсем девчонки. А Дмитрий Дмитриевич с нами, как со взрослыми: «Вот вам, мастерицы, материал, вот нитки. Работа секретная. Я на вас надеюсь, не то мне плохо будет». Написал слова на бумажке: вышить их требуется. Это что-



то вроде песни было, да такой насмешливой, — как царь велел жандармам искать крамолу и что из этого получилось: «У студентов под конторкой пузырек нашли с касторкой. У рабочих под кадушкой соли взяли фунт с осьмушкой». И так далее, всего-то я не упомяну — ведь с того дня прошло пятьдесят с лишним лет. На большом полотнище за день вышили мы эту песню красной гладью. Может, лучше бы и золотом, да ведь по золотому узору нас в два счета бы узнали. А так ходило полотнище по рукам, все читали и над царем с жандармами смеялись.

После революции рассказывали, что жандармы против Дмитрия Дмитриевича Романова целое «дело» завели. Ну, а концов так и не нашли: мы-то ведь молчали. А Дмитрий Дмитриевич на своих добрых затеях разорился и в тысяча девятьсот пятнадцатом году умер.

Клавдия Яковлевна Кротова придвинула пальцы, и золотая нитка стежок за стежком стала ложиться на красный бархат большой нарядной скатерти.

IV

Как это: быть в Торжке и не зайти в школу золотшвей, не поговорить с Клавдией Васильевной Хилевской, заслуженной учительницей, которой уже под девяносто лет! По ее собственным словам, она «сверх положенного для пенсии срока проработала тридцать лет».

Неторопливая в движениях, снежно-седая, с лицом, на котором почти вековая жизнь оставила заметные следы сетью морщинок и все же с чистым и

открытым молодым взглядом, она так и светилась радушием и приветливостью.

Показала рукопись:

— Пишу о нашем искусстве, о девушках «золотые руки», о прошлом.

Как хорошо она помнила старый Торжок, как интересно о нем рассказывала!

— В девичестве у меня фамилия — Кисельникова. Отец мой разыскал в древних книгах сведения о предке, мастеровом Терёхе Киселе. Прадед мой, Дмитрий Максимович, считался первейшим швецом рукавиц.

Она с волнением рассказывала о том, как, трудясь от зари до зари, швея вырабатывала в старое время гривенник в день, а при особо выгодном заказе — двухгривенный.

Лихорадило промысел: раздобудут заказ — работают мастерицы, а нет — принимаются за кружева или копаются на огородах: как-то надо прокормиться. То двести девушек сидят за пяльцами, а то и двадцати не наберешь. То медаль на выставке в Лондоне за тончайшее мастерство, а то, как говорится, «зубы на полку» и слезные просьбы о выдаче пособия в земство, ведавшее при царе кустарными промыслами. А пособие в ту пору выдавали только самым знаменитым мастерицам, и то в виде исключения, по явной безработице.

В нужде жили торжокские вышивальщицы, но знающие люди говорили:

«Не только у вас так. Всюду на Руси гибнет золотошвейное мастерство».

А как это мастерство любили золотошвеи!

Один из знатоков народного искусства писал, что золотошвей «занимала каждая деталь работы, ушник и завиток рисунка. К мелочам своего мастерства они относились, как к чему-то живому, дающему пищу уму, удовлетворяющему их творческие потребности. Склоняясь на пяльцы, в этих созданиях иглы они находили забвение своей бесцветной и полной лишений жизни».

Те люди, которые понимали красоту древнерусского золотого шитья, знали и о его бедственном состоянии. Но что они тогда могли поделать?

Замечательный русский художник Николай Рёрих возмущался. Он писал:

«В Торжке, даже по гимназическим географиям знаменитом своим шитьем, не так давно была устроена земская школа с целью поддержать это ветшающее рукоделие и обновить его возвращением к старинной превосходной технике. Дело пошло на лад. Казалось бы, чего лучше: нашлась опытная руководительница и школа имеет прямое, отвечающее местным запросам назначение; вы подумаете, что новое земство позаботилось о расширении этого удачного дела? Ничуть не бывало. Оно нашло школу излишнею и на днях совсем упразднило ее, на погибель бросая исконное местное ремесло.

При таких условиях разве сумеет народ сделать что-нибудь красивое? Единственно, если будет прочная почва, можно ждать и доброе дерево».

Прочная почва образовалась только после Великой Октябрьской социалистической революции.

Клавдия Васильевна рассказывала:

— Впервые меня, директора школы золотошвей, спросили, а что вам надо, в чем нуждаетесь, хватает ли преподавателей, есть ли оборудование.

Началось обучение — не на дому, а в мастерских, не как бог на душу положит, а по разумной, продуманной программе.

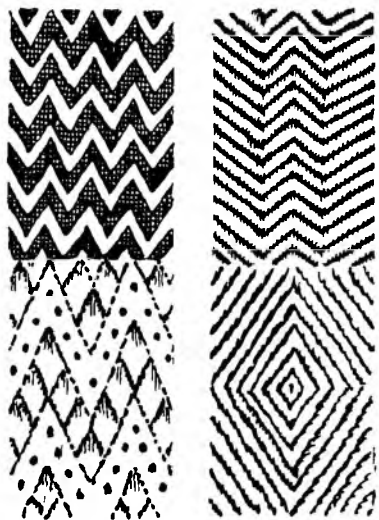
Мне удалось попасть в святая святых золотошвейного искусства, и только тогда понял я, сколь сложен путь к мастерству.

Сначала надо взять плотную бумагу и клейстером склеить ее вдвое. Да так, чтоб без кисти, а рукой; упадет комочек — беда. Склеила — отутюжь, но не утюгом, а... бутылкой или толстым круглым карандашом.

Подсушится такой самодельный картон у печки или под прессом, и можно через копирку перевести узор, а потом аккуратненько вырезать его и наклеить на материал — сафьян, замшу, бархат, сукно, уже натянутые в пальцах.

Только после того, как сделанная «заготовка» просохнет, собственно, и начинается вышивание. Материалы и инструменты должны быть под рукой. Это маленькое тонкое шильце, ножницы, наперсток и золотая нить — волоченная (тянутая), пряденая или граненная — на остроносой катушке «витейке».

Мастерица левой рукой держит иголку с белой ниткой, а пра-



вой прокалывает материал у самой кромки узорного картона. Нащупала кончик шильца, приладила иглоку, вытянула ее и оставила нитяную петельку. В эту петельку вдевается золотая нить с витейки, а иголка с белой ниткой опять ушла вниз, под материал. Так и получается: белая нить не видна, а золотая — только на поверхности материала.

Слово «монументальный» объясняется в толковых словарях так: «грандиозно-величественный, производящий впечатление мощности», или «солидный по внешности и внутреннему содержанию».

Казалось бы, какое отношение это слово может иметь к вышивке? Но про шитье золотой нитью часто говорят, что ему свойственна монументальность. И это верно. Когда мастерица выполняет работы так называемым «высоким шитьем», подкладывая под основную часть узора картон, или когда дает «кованный» шов, украшение получается как бы литое, массивное — одним словом, монументальное.

«Литой» шов — самый популярный в Торжке. Золотинка укладывается плотно одна к другой, будто это единый слиток.

Но применяются и другие швы. В школе учат шестнадцать разным, а всего их свыше ста. Очень труден двухсторонний, когда работу можно смотреть хоть с лица, хоть с изнанки. Вернее, изнанки тут нет — ведь и та и другая сторона лицевая. Есть сложный — «гусем», тоже кованный, но в этом случае поверхность шитья получается гофрированная, складчатая. Есть «петелькой», когда на ровном расстоянии на нити возникают красивые петельки. Есть «плетешок» — шитье золотой плетеной ниткой без картона, а есть шов канителью — золотой закрученной проволочкой, похожей на пружинку. «Корзинкой» называется

шитье клетками, вроде шахматных, где светлые клетки выполняются золотом, а темные — шелком.

В старое время мастерицы очень образно именовали разные швы. Тут и «денежка простая», и «денежка с крестиком», и «ягодка с рядками», и «ягодка с черенком», и «копытчко», и многие другие.

А то еще украсят разными фигурными металлическими накладками.

Учение начинается с того, что молодая мастерица режет из бумаги узоры и «запаливает» материал. Потом ей дают зашить золотом маленький, десятисантиметровый бумажный «столбик». Если за шесть уроков удастся сделать это, доверяют зашить «волну». Потом «дулинку» — фигурку, напоминающую челнок или толстую скобку, а за ней последовательно — «ягодку», «ветку», «огурчик», «звездочку» и «колосок».

Три года учатся золотошвейному искусству в Торжке, и только после этого могут они готовиться к первой вышивке по собственному рисунку.

Терпение и упорство в соединении с талантом к рисованию и художественным вкусом помогают создавать те удивительные произведения, за которые Клавдия Васильевна Хилевская ласково хвалит: «Ну что ж, хорошо. Это удалось тебе, милая!» — а жюри международной выставки в Нью-Йорке или Милане присуждает золотые медали и почетные дипломы.

V

Людмила Семеновна Филонова и по стремлению и по образованию художница-вышивальщица. Именно по этой специальности она с отличием окончила Мо-

сковское художественно-промышленное училище имени Калинина. Затем побывала во многих местах, где традицией стала русская вышивка. Смотрела, как идет работа в поселке Крестцы, Новгородской области, где издавна вышивают по сетке — такую вышивку мастерицы называют «филейной». Двенадцать мастериц — «строчей» — знаменитого своими ремеслами горьковского Городца по ее рисунку выполнили занавес, которым потом любовались посетители выставок. Бывала Филонова во многих наших городах и всюду давала добрые советы как художник, и всюду училась сама у народных мастериц-вышивальщиц.

В Торжок Людмила Семеновна заезжала и раньше. На этот раз ей надо было посмотреть, что девушки готовят к очередной выставке декоративного искусства.

Филонова сидела у окна, а молодая мастерица Тамара Перепелкина несмело подошла к ней, тихо сказала:

— Я хочу показать рисунок.

Людмила Семеновна подбодрила ее:

— Покажи. И не стесняйся. Одной ведь трудно, я это по себе знаю. Бывает, сделаю что-нибудь дома, а потом иду к матери: «Посмотри. Что скажешь?»

Тамара улыбнулась. Это хорошо, что с москвичкой можно запросто поговорить. Она развернула лист бумаги. На нем узор.

— «Еловые шишки», — прочитала Филонова.

Будь Тамара посмелее, она бы могла рассказать, откуда появился этот узор. Как-то в воскресенье молодежь отправилась гулять в лес, километра за четыре

от города. Девушка увидела на елке красивую ветку с шишками. Соблазнилась и сорвала. Принесла домой, повесила на стену и все продолжала смотреть на нее. А потом подумала: «Ведь и рисунок такой можно сделать». И сделала.

Филонова похвалила новый узор.

— Только очень-то не загружай подробностями, — посоветовала она. — Попросторнее, полегче, лучше будет.

И так же просто, как начала разговор с девушкой, Филонова показала ей свой рисунок «Птички»: на синем фоне возле золотого куста с раскинувшимися на обе стороны цветами сидят две птички-невелички.

— Ой, как ладно-то, как красиво! — вырвалось у Тамары.

О многом переговорили тогда художница и мастерица.

Филонова делилась с девушкой своими мыслями:

— Иные говорят: ну как это совместить — старинное золотое шитье, которое славилось на русской земле еще много веков назад, и... спутники, ракеты, полеты на Луну? А по-моему, тут противоречия нет. Ведь в наш век, в канун коммунизма, люди стали еще ближе к красоте, они ее и ценят дороже.

И верно. Сколько прекрасных и очень современных изделий могут создать торжокские золотошвей: и богатое шитье скатерти, и наволочки на подушки для дивана или тахты, и переплеты альбомов, почетных адресов и грамот, и женские сумочки, и многое другое, что подскажет фантазия вышивальщиц. А главное, смысл торжокского искусства стал совсем другой, чем раньше: было время, вышивали торжокские красавицы роскошные платья для царей и цариц, камзо-

лы екатерининским вельможам, разные церковные украшения. Теперь же мастерицы создают свои прекрасные произведения товарищам по труду, таким же представителям народа, какими являются сами.

— Так ведь, Тамара? — улыбнулась Филонова.

— Так! — согласно кивнула головой Перепелкина.

Работа с золотыми нитями, которую она считала скромным рукоделием, предстала теперь как подлинное народное искусство.

Вот почему она села на свое место с сознанием, что ей предстоит сделать что-то хорошее.

Сотни золотых нитей снова блеснули в руках мастериц.

ЗВОНКОЕ ЧУДО

СЕВЕРНЫЙ КОРЕНЬ



ТЫ вдумайся как следует в мои слова: многие несчастья в жизни у нас происходят потому, что либо ты чего-то вовремя не сделал, либо сделал, да не вовремя.

История, которую я сейчас тебе расскажу, — как раз о том. Она тебе и ответит на вопрос, откуда у нас здесь появился узор — красная архангельская травка с крутыми витками, да кони, запряженные в повозку.

Любовь этот узор сюда привела. Любовь.

Я ведь сам-от архангельский, из далеких лесных мест. Конешно, вы люди и мы люди, у вас не месяц во лбу, а два глаза, и у нас их не четыре. Но вот у вас — такой возьмем разрез — ходят по землянику да по ма-

лину, а у нас на болотах морошку-ягоду собирают, мочат или варенье готовят. У вас опять же хлебный квас или брага служат для утоления естественной жажды, а у нас черемуху вываривают; потом, если дрожжи да сахар класть, — получается полная сласть: голова кругом идет.

Это я к тому, что в одно перо и птица не родится. Страна у нас большая, и занятий и обычаев великое множество. Москва это, безусловно, первый бурлак на Руси, трудовой город, но и на севере тоже сложа руки не сидят, кнутов не вьют, собак не бьют, каждый свое дело знает.

Деревня наша неподалеку от Северной Двины, в Нижней Тойме. Сгрудилось под этим наименованием с десятков деревень: тут тебе и Наволок и Красная Горка, Стрелка и Нижний Ручей, две Жерлыгинских и соответственно разные другие. Проверь по подробной карте.

У Алфея, молодого моего соседа, рукомесло родовое: и дед и отец дерево красили. Не о малярах речь, — имеется в виду в полной мере народный художник. Было время — расписывали прясницы, те самые доски у прялок, на гребне которых кудель или шерсть насаживают и с чего нитку сучат. В Костроме да в Ярославле прясницы резьбой разукрашивают, в Пермьгории по желтой земле черную роспись пускают, в Тотме — синие розы дают, а у нас уж так повелось — на радость пряхам красильщики алой киноварью по золотой земле узоры выводят. И птицы-то разноцветные о семи цветах радуги, и чаепитие, и поседки за прядением, и катанье на лошадях. Вот это главное у нас — катанье. А кони! Пара коней задорная, одна лошадка зеленая, грива по ветру, упряжь наборная, другая лошадка золотая, ногой землю бьет, ушами прядет, пар из мезд-

рей валит. Когда за такую прялку девица сядет, так в избе-то будто веселый огонек зажгут, все аж засияет.

Дед Алфея — известнейший мастер по всей Северной Двине, Микишей звали. Езживал он дальней дорогой в Великий Устюг, — там постом в первое воскресенье шумело не малое торговое сборбище. И дедовы прясницы очень даже обожали. Широко и из других мест приезжали за ними прямехонько в нашу деревню.

Алфеев отец этому мастерству научился, но больше любил красить туеса.

Ох, будь она неладна, ведь тебе растолковывать придется, что это за диковинка, туес-то. Понятными словами сказать — берестяная баклага, бурачок или небольшая кадушка. У нас они разной величины — стакана до двух ведер. Грибы — обабки да рыжики соленые — в них берегут, духовитый мед на зиму ставят, клюкву или морошку держат, в общем, для хозяйственной надобности.

В народном обиходе красоту любят.

Вот и стал мой молодой соседущка Алфей мастаком по живописной части. А что? Есть металлисты и есть связисты, есть буфетчики и есть ракетчики, нужны и такие мастера, которые красоту людям творят.

Свяжет Алфей кисточку беличьего волоса и наведет узор, который в нашем углу испокон веку известен: из красного вазона вытягивается белый росток; по обе стороны два желтых несмелых листика выглядывают, пообочь два же зеленых завитка следуют, над ними протяжные листы вверх стремятся и на острие еще двуцветные бутоны. В завершение раскрывается старинный русский цветок — тюльпан, ты его, поди-ко, на басмах, узорных рамках в иконах, видывал.

Тоже и птиц Алфей сызмальства сажал на туеса, — коть те кочета с курицей, хоть райскую птицу Сирин. А то охоту на лисицу изобразит, лес нарисует, — там у него мужики сосны валят, и перволюб дерут, и для березового сока стволы насекают.

Прясницы-то годов с двадцати в наших краях начисто перестали мастерить, — куда их девать, коли в сельпо полки завалены ситцем всех цветов и даже искусственным и безыскусственным шелком. Бабы забросили прясницы на чердаки, а кто так и лучины из них нащепал и в печке или в самоваре спалил.

А туеса, как и прежде, в хозяйстве нужны, — их и ладили для колхозников окрестных деревень.

Ну вот, живет-поживает мой дружок Алфеюшка, туеса расписывает занятно, с выдумкой и старанием. Десятилетку кончил, как теперь полагается, а выбирать профиль высшего образования не стал. Его только художество тянуло, и он скромненько трудился, по деловой и отцовской тропе пошел.

Но когда парню двадцать с небольшим, так не всегда он сам свою судьбу кроит, иной раз любовь всё напутает.

Поближе к осени заявили в нашу деревню представители из музея. За чем бы ты думал? За прясницами да туесами.

Профессорша уже немолодая, все за сердце хваталась, из такого жестяного патрончика таблетки доставала, а себя не жалела, по деревням немало избродила. И при ней девушка, по имени Люба, — из техникума, где готовят художников для фарфоровых заводов. «Я, — говорит, — материал для диплома собираю, а уважаемой профессорше потому помогаю, что меня интересует северный корень искусства. И кроме того, я люблю красивые вещи».

Бабыё опасалось профессорши, а к Любе льнуло, хоть она девка-порох: то смеется, а то взорвется. Приставали:

— Скажи, милая, пошто вам прясницы-то? Престь, что ли, станете?

Люба улыбку погасит, разъясняет серьезно:

— Для красоты нам прясницы. В музее их на стену повесят.

— Это доски-то? — удивляются бабы. — Бабушкам красота была, а для молодых ныне креп-жоржет нужен.

Им, бабам-то, роспись в привычку.

А одна, помню, принесла чистую доску, только искоркой прежняя краска глянула, — это баба от усердия и для чистоты щелоком ее терла, весь рисунок и содрала.

Профессорша прялку отложила. Баба в обиду:

— Чего не берешь?

Профессорша толкует:

— Краска стерта. Изображения нет. Зачем она нам такая?

А у бабы свой резон:

— Нешто в Москве краски нет? Подкрасишь, коли што...

Вот так поболее недели жили в нашей деревне профессорша с Любой. Алфей встретил девушку в первый день, да так и присох. Влюбился, как мышь в короб ввалился. И видно, девушке — серой утице — Алфеюшка тоже соколом показался, приглянулся. Что ни вечер — встречаются. Он ею не надышится, по-старинному Любавой зовет, а она на него не наглядится, как на сырную шанежку. Да ведь и верно, Алфей — парень редкостный: лик ангельский, голос соловьиный, поступь легкая, — по земле ходит, будто ни песчинки,

ни травинки не касается. И сам хорош, да и нрав-то го-ж.

Профессорша отправила посылками немало пря-ниц да туесов в Москву, сама уезжать собирается, а Любава ей на прощанье ручку жмет:

— По уважительной, — говорит, — причине вы-нуждена задержаться в здешней местности.

И задержалась до самой зимы. Обо всем забыла. С техникумом списалась, отсрочку по семейным обстоя-тельствам выхлопотала.

Живет молодая парочка так, что соседи любят-ся.

Заикнулась было Любава:

— Переехать бы нам на родину. Оба бы на заводе работали.

Алфей всерьез тех слов не принял:

— А здесь, — говорит, — что, не работаем?

Любава смолчала, покори-лась. Хозяйство в свои руки взяла. Деньгам счет ведет заботливый. Раньше живо уплывали Алфеевы капиталы. Да мастер о том и не тужил: попросишь ремесло, оно и деньги принес-ло. На севере гостеванье — первое дело, а к парню-за-тейнику приятели льнули, да и девушки не прочь на поседки собраться.

Любава всех их живо отвадила.

— Извините, — говорит, — дорогие товарищи и подруги, нам сейчас не до пирогов. Надо копить сред-ства на обзаведение. И вообще я так считаю: есть у Алфея денежка, так Алфей-Алфеюшка, а нет у Алфея денежки, Алфейка-Алфей. Я хочу, чтобы его уважали.

Эти слова, конечно, пустые: будто парня не ува-жали?

Дом Любаве не приглянулся. Со старо-давних пор, от Алфеева деда-красильщика он остался, и срублен

на века, да вишь ли, по старинке. Любава высказалась:

— Может, воробью в ненастье здесь стреха и сыщется, а мы—люди, у нас культурные запросы: нужна не только мастерская, а столовая и спальня-будувар.

Уговорила она Алфея ставить новый дом.

Алфею бы тут в самую пору ее одернуть: что, мол, ты, дорогая супруга, как беззобая курица, все голодна, и всего тебе мало — а он для Любавы хоть на что идет! Поперек слова не скажет: туеса ладит чуть не полные сутки, на базары мотается, жене деньги несет. И сам себя утешает:

— Избу поставим, тогда опять без этой трясуцей лихорадки заживем.

А про то не знает, горемыка, что не вовремя задумал хозяиновать и что судьба его к другому готовит, — не только о доме, но и родной деревне заставит забыть.

Тут я тебе должен пояснить, как эти туеса делаются.

Возьмет, бывало, Алфеев отец билет в лесничество и вместе с сыном-перводаном Алфеем отправляется весной драть берёсту. Выбирают дерево поровнее. Берез у нас экое место, — есть из чего выбрать по вкусу. Высмотрят, чтоб поменьше «игблук», то есть черных полосок, встречалось, и вот именно такую березу валят. Напилят чурбачками по туесовому росту, деревянным ножичком-сачком кору вместе с лубом отслоят и снимают от корня на вершину как бы берестяную трубку, или, наглядно сказать, стакан без дна.

Это получился «сколотенёк». Соберут их, подсушат тут же, на солнце, сложат один на другой, да так и хранят. А для дела надо — из запаса берут.

Ладится туес двуслойный. Внутри сколотенок, а снаружи он, как в рубашку с застежкой, одет в обшивку. Вырежет мастер клинья с двух сторон, один в один умеючи вставит, вот и сшил рубашку, застегнул ее на пуговики-замочки.

Видишь, рассказываю долго да нескладно, может, тебе эта деревенская техника и ни к чему, а только без нее малопонятны будут все дальнейшие события.

У Алфея от старательной работы запас сколотеньков вышел. Но парень, вишь, что удумал. Еще весной он много сколотеньков приготовил. Однако, рассчитав, что не сладит со всеми, подсушил, сложил, как полагается, один в один и лишнее скоронил, по-нашему, в бугре, а по-вашему, в шалаше: еловым корьем забросал.

Вот теперь он и сообщил Любаве:

— Надо мне идти в лес, выручать добро. Хочешь со мной?

Та сразу: «Добро?» И с первого слова соглашается.

Алфей ей:

— Только смотри: до моего бугра километров с полста будет. Не притомишься?

Эти слова еще пуще ее подзадоривают.

— Все равно, — говорит.

— А на лыжах, милушка, умеешь ли ходить? — сомневается муженек.

У нас лыжи охотничькие, короткие да широкие. Алфей намертво привязал отцовы лыжи к Любавиным валенкам.

Ну и пошли.

С горки покатались, а Любава — бултых прямо в снег.

— Останься, — просит Алфей. — Сделай милость.

Она не остается. Муженек хочет помочь ей встать,

а она не дает. Сама, мол. Ногами крестит по насту и ведь встает, упрямая баба.

— Ну ладно, — говорит Алфей, — коли так, пойдем.

А она встала и повернула лыжи к дому. «Я тебя, — говорит, — в избе подожду».

Видишь, — он ей: «стрижено», а она ему: «брито».

Долго ли, коротко ли, добрел Алфей до бугра, даже не отдохнул и обратно двинулся со сколотеньками: к Любаве своей торопится.

Сидит опять, ладит туеса, Любава их красит. Только делает это с неохотой. А однажды, будто шутя, сказала:

— Хвастаешься барышом, а ходишь голышом. Меня вон в фотографию ретушером зовут работать, так и то корысти больше.

Алфей на нее глянул, как на чужую, ну, она спохватилась — все в шутку обратила.

Стал Алфей замечать, что томит молодую жену грусть. А какая — ему и невдомек. На вопрос о том она прямо не отвечает, а либо шуткой, либо прибауткой отделывается.

— Что, — говорит, — ты от меня улыбки просишь, приходит час, и скоморох плачет...

Вот и пойми тут, что к чему.

Сначала она признавалась, что по матери соскучилась. У Алфея-то в ту пору никого не осталось: отец в одночасье умер, а другие родичи — седьмая вода на киселе. Зато Любавина мать каждый месяц горестные письма шлет: и забыла, мол, ты меня, дочка, и как-то ты там в дремучих лесах на диком севере бедуешь, и разное тому подобное.

— А хочешь ты, Любавушка, поедem на завод, где ты в живописной работала и где твоя матушка живет?

Думал он: вот жену обрадую.

А она в ответ:

— Я-то при деле буду, а ты что? Здесь у тебя всё свое, родное, а там и березы на ваши не похожи, и лесу бедно, и берёсту драть не дадут. Так что и туесов не мастерить. Придется тебе дома сидеть за стряпуху да ребятишек нянчить.

— Что ты, миленькая, — смеется Алфей. — Для ребятишек на заводе, поди-ка, ясли да детский сад. А о туесах я и думать брошу — их время отходит. Пока ты диплом закончишь, пойду работать. На фарфоровые чашки перенесу красную северную травку и золотых коней. Подпись поставлю, как мой дед на прясницах писал: «Везет ямщик девицу в повозке на златогривых лошадях». Красота! И тамошним художникам это нове.

Любава ни в какую. Не знай, чего баба хочет.

А ведь тогда опять в самую бы пору им уехать вместе. Но я же отметил: много бед оттого у нас происходит, что мы чего-то вовремя не делаем, или делаем, — ан не вовремя.

Так и у Алфея с Любавой.

Год еще вместе прожили. Любава характер свой вспыльчивый смирjala. Ходила с мужем за сколотеньками, туески помогала расписывать.

На краю деревни возле леса поставили пятистенную избу. Алфей вздумал было ладить по старому обычаю, с коньком на гребне, с резным подзором и с резным балконом, и чтобы справа-слева от того балкона по тесовой стене цветы из вазонов тянулись, ну чисто, как на туесах.

А Любава зароптала. «Пожалуйста, — говорит, — хоть внутри сделай по современному вкусу: лаконично».

Видишь, какое слово-то отыскала.

Алфей для Любушки и на это готов: выстроил дом, как она хотела. А сам всё ж подумал: куда ее любовь к северному корню делась?

Любава за домом приглядница да хлопотница, все-то в нем обихаживает, по полочкам расставляет, на стенки вешает.

А потом и это перестало ее веселить.

Вдруг, пожалуйста, — новые гости в деревне: архитекторы. Старые дома обмеряют, наличники да подзоры срисовывают в альбомы, ну и что там еще для науки требуется, — всё запечатлевают. Главный-то такой представительный, одет богато, ходит важно. Но дело свое знает.

Любава всем в их занятиях интересуется, Алфей тому не препятствует: с полным удовольствием, ходи, смотри, беседуй, развлекайся.

А когда уехали молодые люди — не увидел Алфей и своей Любавы. Говорили — шумели-то ведь по этому делу много, — что наши колхозники аж в Котласе заметили Любаву, шла под ручку с главным архитектором и такая веселая, как два года назад, когда у них с Алфеем любовь занялась.

Алфей услышал это и — в Котлас. А там уж новой парочки и след простыл. И главное, никто путем сказать не мог, откуда появились приезжие: из Архангельска, из Ленинграда, а может, и из самой Москвы.

Домой Алфей вернулся смутный. Ходит, никого не видит, отвечает невпопад, с пятого на десятое: ты ему про Фому, а он тебе про Ерему. К каждому пароходу выходил, на почту что ни день наведывался, да ничего не дождался. И все себя корил: надо было, мол, вовремя самому уезжать с ней.

Заколотил он окна в новом доме с балконом и — на пристань. Удумал отправляться прямой дорожкой на тот самый фарфоровый завод, где жила Любавина мать, — ему жена часто адрес называла. Но только опоздал горемыка: уж неделю как померла старушка. Дочка, говорят, приезжала на похороны, дом и имущество распродала и снова укатила в неизвестном направлении.

Алфей остался на заводе. Сведущие люди посмотрели, как он рисует, и установили, что выйдет из него большой толк.

А когда объявили на заводе, что нужны, мол, новые рисунки для всесоюзной выставки и для производства, дал Алфей и свое предложение: красная северная травка с крутыми витками, и золотой конь копытом бьет, грива по ветру, и ямщик везет девицу в повозке.

За такую свою работу получил Алфей немалую премию. В газете о нем пропечатали. Но не деньги и не слава прельщали его. Заявился он к начальнику живописного цеха, все, как на духу, рассказал ему и слезно упросил:

— Будь человеком, дай мне самому этот рисунок выполнять. Пойдут мои чашечки и блюдечки во все концы страны. Увидит их Любава и поймет, что выполнил рисунок, как ей сулил. Вот она и откликнется, и объявится.

Прошло с тех пор пять лет. Я из деревни написал Алфею, и он сообщил, что заводу нужны рабочие, и хоть я и не в молодых годах, а все же рисовать мастер и потому могу очень даже легко найти место в живописи. Вот я и приехал, и снова стали мы с Алфеем соседями. Он расписывает сервизы своим северным узором, а я ему помогаю. Иной раз спрошу:

— А что, Алфеюшка, нет письма?

Он глянет так, будто глазом прожечь готов, и отвечает всегда одно:

— Пока нет.

Обрати внимание: «Пока».

А я уж давно перестал верить.

Дóма у Алфея увидел чашку, им расписанную, тоже вроде северный узор: на красной травке с крутыми витками лиса терзает птицу. А внизу чутошными бисерными буквами объяснительная подпись:

Разорить гнездо чужое
Грех большой, большое зло.
Преступление такое
Здесь у нас произошло.

Алфей увидал, что я прочитал стихи, засмутился, взял чашку и в буфет спрятал.

— Это, — говорит, — я так, пробовал только. Для себя...

А сам дышит как загнанный.

Иные у нас говорят: не будь, мол, всех происшествий, не пострадай Алфей, никогда бы на чашках и не появился северный узор с травкой.

Может, конечно, и так. А мне, по-свойски, Алфея жаль.

МИЛЛИОНЩИКОВЫ ДЕТИ



Е ты первый про Ивана Селиверстовича вспомнил. Люди приезжают к нам и часто интересуются:

— Это, — говорят, — у вас прежний хозяин завода по дворам ходит, дрова колет? Или брешут?

Вот я по мере надобности и сообщаю, что было и такое: ходил старик, колол дрова; но я и о том не утаиваю, чем кончилась история его степенства, коммерции советника, владельца фарфорового завода Ивана Селиверстовича. Потому как теперь его в живых нет, одна память осталась, да и та конфузная. А меня в ту пору народным заседателем выбрали, и мне, следовательно, многие подробности известны.

Овдовел Иван Селиверстович рано — молодая жена родами скончалась, — на руках сынок. Сначала горевал по своей красавице, убивался, а потом, может, и женился бы, да женина родня бунт подняла: насчет наследства беспокоилась.

Состояла при хозяйском сыне крестьянская девка Палага. Собой неказистая, горбатенькая: в два года с лавки упала, хребет повредила. И лицом не смазлива — нижняя губа что твой сковородничек. Поди же вот: урод, а увертливая, ловкая, характером покладиста, сердцем ласкова, и хозяйский сынок Алешенька любил ее, как родную. Она семью и подымала: не только дитё нянчила, но и в доме за порядком следила.

Фамилия у Ивана Селиверстовича веская: Сереб-

ренников. Завод родовой, лет сто существовал. А сам-то хозяин по нраву — жила. Мог бы горнишных да лакеев во фраках содержать, а он одну Палагу-домоправительницу по дешевой цене нанял. Даст ей на неделю три рубля, и за то скажи спасибо. Голодом не морил, но и досыта не кормил. И сам ел над горсточкой.

Так и жила Пелагея на подачке, а Серебренников наживал рублики. Да что рублики: идет по улице, копейку увидит и ту подымет, в рукавицу сунет, а дома в кубышку положит, говорит:

— Копеечка — того же золота малая кроха.

А девка, думаешь, унывала? Ни!.. Как заведет:

Снѣжки белые, пушистые
Позакрыли все поля.

Заслушаешься!

В Иване Селиверстовиче красоты тоже не сыщешь: жидкие волосы репейным маслом смазаны, плутоватые глаза, как щелки, а нос вроде сапожка с загогулиной. Говорить смешно, а утаить грешно, — стал хозяин жить с горбатой Палагой. Она безропотная, как приказут, так и поступит.

У бога дней не решето; текут они, дни-то, время идет, не заметишь, как годы минут. Родила Пелагея хозяину сына, нарекла его Егором по той причине, что стояла у домоуправительницы на божнице старинная и особо чтимая икона новгородского письма «Чудо Георгия о змие».

К тому времени законный-то сын Ивана Селиверстовича в возраст вошел, нянька ему вроде не нужна. Нанял Серебренников стряпуху, а Палагу с малышом отделил.

— Сними, — говорит, — фатеру.

Ей что: опять как прикажут.

Сняла за рубль в месяц хибарку.

Ходила для приработка по домам белье стирать, а в страду на поля жать да снопы вязать.

Не раз у самого Серебренникова батрачила, а сын Егорушка подрос, так и его прихватывала для подмоги.

В каменных рядах имел Серебренников два «номера», — приказчик там торговал. Ну, приказчик-то плут, берет, что и не дадут; раз его поймал на этом деле Серебренников, другой раз поймал да и выгнал. Приспособил Иван Селиверстович к торговле сына Алексея.

Как ни скрывался купец гильдейный, а в городе все знали, что нажил он вторую семью. В лицо, конечно, никто слова вымолвить не смел, но за спиной валили волку на холку. Состоял Серебренников гласным городской думы, а за то, что в церкви святой Троицы много лет выполнял казначейскую должность, имел нагрудную медаль.

В эту самую церковь велел он на собственном заводе иконостас из фарфора отлить и без единой копейки отдал.

— Пусть, — говорит, — раба божьего помянут. Я на сто лет для той цели сделал вклад.

Он свою вторую семью считал великим грехом и всё этот грех замаливал.

А теперь, слава богу, и церкви серебренниковской нет; узорные купола просели, деревяшки с них на голову прохожим стали падать, — ее и развалили. А новую строить доброхотов не сыскалось. На том месте дом пятиэтажный уже в советское время поставили для рабочих завода. Вот и поминай как звали.

Чтой-то я на наше время сбился. Разговор-то ведь

еще про старину шел, про то, как наш фабрикант-заводчик свой грех замаливал.

Днем он на людей кидался, копейку выпаривал, а ввечеру встанет у иконостаса в полстены и ну поклоны отстукивать да молитвы читать по скитскому покаянию:

— Аще суть, господи, грехи мои — зависть, ненависть, лютость, острожелчие, наглодушие, свирепство, смех, клич, свар, бой, скверных мыслей приимание и повседневное падение.

Утешит себя на сон грядущий, а с утра всё снова начинается: и свар, и бой, и свирепство.

Егорушка помучился в батрацкой лямке на земле у собственного папаша, который его даже сыном не признавал, и решил на завод идти. Мать Палага ему тот совет подала.

— Бедного человека, — говорит, — ремесло кормит.

Формовал Егор в точильной посуду. И так это у него ловко получалось, что хоть и молод, а скоро прослыл первым мастером на формовке.

А не из пригульной — из законной — семьи сын Алексей пошел по другой стежке. Сперва руку в кассу стал запускать, а потом такое учинил, что весь уезд целую зиму толковал. Отец, Иван Селиверстович, в столицу по делам укатил, а хозяиновать Алексея оставил. Чуть батя за ворота, Алеха кликнул ярмарочного приказчика, пошептался, а тот и рад стараться: накупил вина да закусок, из господского дома выкатил большой ковер, снес в лодку, позвал, как про то распорядился хозяйский сын, гармониста Яшку из живописной и трех девок поговорчивей, и вниз по матушке по Волге отправилась вся компания на гулянку к Хомутовой горе. А там, следовательно, женский мона-

стырь. На виду монашеского общества начались пьянка, гульба и плескание в воде. Отец вернулся, а к нему первым делом игуменья с жалобой.

Вот так сын согрешил, накошил, да не выхлебал. С той поры вышел он из родительского доверия: в лавке хоть и сидит, а из-под отцовой руки глядит. И покотился под горку: всё, что в кармане звенело, шло трактирному сидельцу.

Отец по ночам поклоны пуще бьет:

— Яко беззаконие мое аз знаю и грех мой пред тобою, о господи, выну.

А сын до первых петухов с собутыльниками и гулящими девками беса тешит.

Перед самой революцией у миллионщиковых детей жизнь и распределилась надвое: один трудится, а другой на папашины деньги веселится.

Фабрику, конечно, отобрало государство. Алексея из лавки в гостином дворе долой, да и саму лавку прикрыли — фарфоровый товар стали отправлять на нужды страны и фронта. Опять же и выпуск небольшой, — сырья не хватало.

Сам-то Иван Селиверстович на долгие годы исчез, а когда вернулся в родные места, ходит тише воды, ниже травы по дворам и — верно это ты слышал — с готовностью пилит и рубит дрова желающим, а получает с кого хлебом насущным и другими продуктами на пропитание, а с кого — носильными вещами. Деньги тогда, сам знаешь, не в цене были.

В общем, живет этот мирный старичок в городе, будто и не он состоял хозяином фарфорового завода, из двора во двор путешествует с колуном и двуручной пилой. Сначала его запьянцевский сынок Алексей вместе с ним ходил, а когда открыли в городе первый ларек по сбору утиля, стал там приемщиком всякого до-

бра, вроде медных самоваров, отслуживших свой век, рваных галош и тряпья: отец-то его ничему доброму не научил, кроме как выручку подсчитывать.

Егор вместе с матерью, горбатой Палагой, надумал из родного города уехать: звали его как первейшего мастера на большой фарфоровый завод.

Стороной прослышал Иван Селиверстович об этом и ввечеру как-то неожиданно-негаданно заявился к Палаге (Егора-то тогда дома не оказалось; может, старик нарочно такое удобное время укараулил).

— Здравствуй, — говорит, — Пелагея Федоровна!

Обрати внимание: он свою куфарку и няньку так никогда не величал, — все Палашка, да дуреха, других и слов не знал.

Она ему с почтением:

— Здравствуйте, батюшка Иван Селиверстович!

Это уж у нее всегдашнее обращение.

— Как живешь, Пелагея Федоровна? Расскажи!

Она опять почтительно:

— Благодарствуйте, Иван Селиверстович. Сынок Егорушка меня душевно радует, работает честно, благородно, мне оказывает сыновье уважение, в рот хмельного не берет.

Сказала так Палага и смутилась: а вдруг хозяин примет это за намек касательно пропойцы Алексея? Вот ведь святая душа и про то забыла, что революция давно произошла и никакой ей теперь Серебренников не хозяин, а так, ничто, бывший капиталист-миллионщик, который ходит по дворам и дрова пилит и колет.

Однако Иван Селиверстович все сказанное Палагой пропустил мимо ушей. Видно, он только церемонию соблюдал, вежливый разговор для отводе глаз вел, а

сам собирался что-то свое выложить. Так и вышло.

— Слышал, — говорит, — вы из города собираетесь уезжать?

— Егорушка надумал, — подтверждает Палага.

— Хочу и я с вами ехать, — сообщил Серебренников. — Надоело мне одному горе мыкать, слова не с кем сказать, а помру, — кто мне глаза, грешнику окаянному, закроет? Копил я капиталы всю жизнь, а для кого, неизвестно.

Палага на него с испугом воззрилась, и так он стал утешать:

— Ты не сомневайся, баба. У меня кое-что из золота осталось, не все ведь хранил я в несгорающем шкафу. И желтые николаевские кругляшки найдутся, и ризы со святых икон утаил, да и за последние годы я своим топором и пилой некие средства накопил. В каком ни на есть новом месте купим домик, яблонек вокруг посадим и станем жить семейно: я, ты и Егор. Его я своим сыном по всей формальности признаю.

Палага от робости слова сказать не в силах. А Серебренников оглянулся — видит: стоит в дверях Егор, лицо белое, как гипсовая форма, а в глазах огонь.

— Нет, — говорит, — у меня отца, а был злой хозяин, у которого я и мать батрачили. Добрые люди да доброе время нас от голодной смерти спасли. Уедем мы без вас, гражданин Серебренников, и я строго попрошу: в дальнейшем вы мою матушку не смущайте и с такими прельстительными речами не подкатывайтесь. Краснó поете, да нам плясать не охота. Вот вам от нас и весь сказ.

С тем Иван Селиверстович и домой вернулся. Но, видно, душа его забродила. Крепко в упрямую голову засела мечта перевернуть жизнь заново. Рассчитывал, поди-ка, на прежнюю свою хозяйскую власть, на ста-

рую Палагину почтительность да безропотную согласность.

А она видит, что сын Егорушка непреклонен, стала потихоньку собираться к отъезду.

И вот произошло последнее страшное событие. Так ли точно в подробностях это было, как я тебе поведаю, или немного по-иному, за это уж не взыщи: свидетелей не осталось, а следователь и прокурор картину преступления всё же нарисовали.

Будто бы пришел Серебренников ночью, вызнав, что Егор на заводе задерживается, стал снова Палагу звать ехать в неизвестные края — и не втроем, а без Егора. Чудак человек! Для Палаги сын — ее чрева урывочек, на старость печальник, на поклон души поминщик; она Серебренникову все и выложила: нет мне жизни без Егорушки. Старик кинулся на горбунью и удушил ее. А потом испугался, отыскал веревку, к балясине привязал и Палагу в петлю сунул, дескать, она сама руки на себя наложила. И потихоньку скрылся в ночи.

Явился Егорушка с завода: мать мертва. Обезумел парень, кинулся за помощью. Милиция арестовала Серебренникова, а тот твердит:

— Я ни при чем.

Долго следствие тянулось. Разные научные методы применяли — в микроскопы смотрели, порошки подсыпали — и точно установили, что перед домом следы серебренниковских сапог и другие приметы сходятся.

Следователь припирает:

— Сознавайся.

А Серебренников одно твердит:

— Невиновен я, сама Палага удавилась.

И вот однажды пришел в тюремную одиночную камеру прокурор.

— Совсем, — говорит, — напрасно вы, гражданин Серебренников, упорствуете и путаете следственную систему. Наука по раскрытию преступлений решительно выступает против вас. Сознавайтесь, вам же лучше.

Иван Селиверстович усмехнулся; это мне прокурор рассказывал, так что я из первых уст передаю.

— Чем мне, — интересуется, — лучше?

— Сознаетесь, расскажете всё чистосердечно — вам лет пять тюрьмы справедливые судьи скинут.

— И сколько оставят? — опять с этакой усмешкой допытывается Серебренников.

— Лет пять придется отбыть за свое преступление, коли сочтут, что это не предумышленное убийство, а все произошло в запальчивости.

Ничего не ответил Серебренников, задумался.

Прокурор его оставил в покое: пусть, мол, поразмыслит. Как говорится, утро вечера мудренее.

А к утру развязка и настала. Охрана заглянет в глазок — старик сидит на полу и раз за разом свою старую кожаную рукавицу подкидывает. Тебе-то, поди, невдомек, а мы эту привычку хорошо знаем. Да ведь и не только у Серебренникова таков обычай: гадать на рукавичке. Бывало, цыгане городом пройдут, обязательно у кого-то лошадь пропадет. Полиции жаловаться — дело бесполезное, надо самим на поиски отправляться. А куда идти? В какую-такую сторону? Направо или налево? Брали люди кожаную рукавицу и бросали над головой. А сначала загадают: напалком вниз упадет — идти направо, а напалком вверх — налево. Что ж ты думаешь — можешь смеяться, это твое полное право, — а только всегда угадывали цыганский путь и не раз конокрадов настигали.

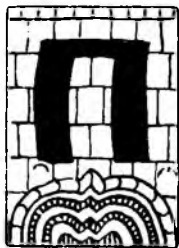
Вот так-то и решил в ту ночь погадать по старому обычаю бывший коммерции советник Серебренников.

Условие сделал: упадет рукавичка напалком вверх — сознаюсь, понесу наказание, а остаток дней, если сподоблюсь, проживу в мире. А коли упадет рукавичка напалком вниз, — ни слова правды не произнесу. Может, и то рассчитал: ему уже тогда семьдесят с двумя годами сполнилось, — не выйти живым из тюрьмы.

Так или нет — о том только догадываться можно, — а стража сообщила: рукавичка все напалком вниз падала. И уж как стража за всем наблюдала, а то проглядела: удавился Серебренников на шнурке от исподников. Сам себя, одним словом, казнил.

А когда рукавичку стали разглядывать, нащупали в напалке четыре слипшихся и черных, будто чугуновых, копейки с царским орлом. Они, видно, еще с каких пор там, средь меха, затерялись. Велики ли деньги, а ведь жизнь перевесили, — потому рукавичка напалком вниз всё и падала.

БЕДНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ



ОЛУЧИЛ я недавно коротенькое письмецо. По штемпелю вижу, что город знакомый. А вот почерк неведомый:

«Разбирая папины бумаги, я часто находила ваши письма. Знаю, что вы переписывались. Я хочу вам сообщить, что в ночь с 6 на 7 декабря он умер.

Мы его уже похоронили. Для меня это сильный удар. Его дочь Инесса»,

Инесса... Конечно, я помнил ее. Вечно, по любому поводу пререкалась с братом Ричардом: чья очередь идти за водой к колодцу, да кто сядет за стол у окна, а кто спиной к двери. Девочку называли в честь Инессы Арманд, известной русской революционерки, соратницы Ленина. Ричард носил имя как память о Ричарде Львиное Сердце, герое какого-то английского романа. Невеликий я знаток истории и литературы, но это все запомнил, потому что мать Инессы и Ричарда то и дело повторяла мне подробности. В свое время прочитала она немало книг.

А вот отец, тот самый, что умер в ночь с шестого на седьмое... Витя, Виктор Николаевич Щекин, — что это был за человек? Бедняга, несчастный мой друг. Верно, с ним я переписывался. Знал его давно, с тех пор, как мы на одном заводе в живописном цеху работали, а переписка началась после того, как Варвара Николаевна, жена его, завела себе очередного дружка, баяниста из Дома культуры, и вконец захотела унижить супруга, любви которого в свое время сама очень настойчиво добивалась. И чуть ли даже не в лицо стала говорить: убирайся на все четыре стороны, опостылел ты мне и ноги оплел, как худая трава. Это при живых-то детях! Ричарду тогда четырнадцатый пошел, а Инессе и двенадцати не исполнилось.

А он — теленок — посмотрел на нее, глаза слезами заволокло, слова сказать не может. Но делать нечего — сердечный суд не районный какой-нибудь: скажет так — перетакивать не станешь. Горшок разобьешь — хоть берестой завьешь, а все ж не цела посудина. А тут люди.

Дня через три собрался, детей обнял да поцеловал, и все-то молча, хоть не дешево это ему далось, а гово-

рила одна Варвара, и смысл ее речи перед детьми такой, что посылают отца в долгую командировку.

Уехал. Стал заведовать почтой в дальней глухомани. Одна радость, что красота вокруг — озеро рыбное, от самого обрыва верст на сорок сосновый бор тянется, а на лесных опушках по осени видимо-невидимо рыжиков.

Почему я говорю «радость»? Что за радость при таком горестном повороте жизни?

А потому, что человек мог бы на себя и руки наложить. Прежде чем жениться на Варваре, слыл Виктор у нас отменным живописцем, чуть ли не лучшим по заводу, великим мастером цветы писать. В красоте он толк знал и красоту ценил. Бывало, нарисует букет полевых цветов, сам нарадуется и поднесет кому-нибудь из молодых:

— Понюхай, пахнут?

И ведь многим казалось, что верно: идет от тарелки медвяный цветочный дух.

Профессора разные и другие знатоки прочили ему большое будущее. И достиг бы он его, кабы нашел добрую жену, подругу и помощницу. Женино-то добро, как зимнее тепло. А судьба будто знала — по рукам связала.

Варвара тогда подсобницей в формовочном работала, доски с тарелками на плече носила. Потом на полуавтомат перешла. Приглядывалась к обстановке, не один раз, видно, все взвешивала да рассчитывала и наметила себе путь жизни. Замуж решила выйти и Виктора выбрала. Он в ту пору приболел, так Варвара с постели подняла, одела и в загс. Поступила в вечернюю школу. Баба она, что и говорить, упорная, настойчивая, блажь ли, не блажь ли в голову толкнется — всего достигнет.

Виктор в воскресенье с ребяташками сидит, одной соску в рот сует, другому рисует домик, рыбок, кошку с мышами, а Варвара за книжками да тетрадками задания выполняет, домашние сочинения пишет.

Я-то знал, как ему хотелось со мной на этюды пойти, акварелью березку написать или к речке спуститься, где теплыми вечерами от воды синий туман восходит и золотые кувшинки в заводи сияют. Но он ни разу не пожаловался, что в няньки его определили. Разве что виновато улыбнется да скажет в свое оправдание:

— С детьми водливо, а без детей тоскливо.

Я все думал, ему сын наследник станет, а нет — Ричард весь в мать: хоть и мал, а соображает, как нужно поступить, чтобы в накладе не остаться.

А вот Инесса — к отцу ближе: сказки любила, мастерица цветы собирать и венки плести. И видать, с фантазией девочка. Ведь и Виктор по натуре мужик неторопливый, я бы даже сказал мечтательный. Однако на этом он и погорел.

Рисовал Виктор обстоятельно, много времени на эскизы тратил и за большим заработком не гнался, чем не раз и не два, а много раз сердил Варвару.

Вот она терпела год, другой, да и заставила его бросить живописное мастерство. Сначала Виктор ни в какую. Но капля камень точит, а настырная жена до чего и не хочешь доведет. Вот и Варвара — не мытьем, так катаньем — заставила Виктора подыскать работу поприбыльней и перейти в бухгалтерию. Виктор способный ко всему — и к цифрам тоже, в уме считал, как бог, хоть на сцене вроде фокусника выступай, — приезжал к нам в клуб такой. Горько Виктору любимое дело бросать, а Варвара ребяташками козыряет: мол, в школу идти, форму нужно, а Инессе усиленное питание требуется. Ну, он повздыхал, да и уступил, благо глав-

ный бухгалтер сжалился — все Варвариними заботами — и бесплатно стал объяснять разный дебет-кредит. Иной раз даже вечерами оставался: бородашкой трясет, как поселковый кладбищенский поп, в разные толстые книги пальцем тычет и довольно понятно растолковывает.

Я тогда мало знал об их жизни. Знал, что Варвара закончила заочный институт и уехали они из заводского поселка в северный городок, куда она получила назначение.

Там дальнейшие события и произошли.

Из своей далекой почты на берегу озера у темного бора приезжал Виктор Николаевич в город раз в месяц, якобы с отчетом, а на самом деле детей повидать, особенно Инессу. Но не только маменькин сынок Ричард, а и папина дочка Инесса стала отвыкать от отца, — зря, что ли, говорится: с глаз долой — из сердца вон.

И вот как-то появился мой Виктор Николаевич домой, вернее в бывший свой дом, где гармониста и след простыл, а какой-то дядя фотограф обосновался: Варвара-то даром время не любила терять, по-прежнему — что загорится, вынь да положь.

Пришел Виктор в подпитии, чего с ним раньше никогда не замечалось. Видно, в глуши стал прикладываться к бутылке с гусиной шейкой. А ведь пьяный, что малый — рот нараспашку, язык на плече, — болтает невесть что. Сидит Виктор на скамейке с Инессой, спрашивает, как она живет, о Ричарде опять же осведомляется, а слезы у него так и каплют, и он этого даже не замечает.

То ли сердце у Инессы ожесточилось, то ли материны уговоры свое взяли, только насмешливо заговорила она с отцом, своим родным батюшкой.

— Ну, — говорит, — потекла святая вода.

Отец ей:

— Верно: слеза — вода, да иная вода дороже крови.

Это ведь верно: каждому человеку своя слеза горька.

Виктор, вишь, жалобу высказал. Ей бы лаской взять, он бы сердцем-то и затих, а девочка по-взрослому, вразрез.

— Ты не изображай из себя страдальца. Я знаю, не было у вас с мамой любви. Жили, как на коммунальной квартире.

Виктор на нее глаза поднял:

— Как у тебя такие слова с уст-то слетают. Как ты можешь отца ранить?!

— Мне сейчас Николай Николаевич отец, — тут уж явно, чтобы досадить и ответить на упрек, задиристо произнесла Инесса.

Нерадостно улыбнулся Виктор:

— Это что ж, фотограф этот?

— Ну и что ж, что фотограф. Я к нему хорошо отношусь.

Не предательство это? Будь мамкин любовник хоть чудо из чудес — не первый, может, и не последний, а беда отца родного — где ж другого сыщешь? Ножом полоснуло это Виктора. О предательстве он тогда подумал, я не свои слова, а его передаю. Мне написал тоже, поди, под пьяную руку, — трезвый-то он тихий да молчаливый, редко слова от него добьешься. А уж коли часто стал писать, так, видно, и пил нередко.

Вот и завязалась у нас переписка. Виктор мне письмо на восьми страницах, почерком прямым и ровным — тут тебе и художник сказался, да и за годы жизни с Варварой набил он руку в бухгалтериях. А я не велик

грамотей — короткое письмецо, только весть даю, что, мол, послание получил, ну и два-три необходимых замечания по ходу дела. Так что Инесса нашла мои письма и сообразить, наверно, не могла, о чем у нас шел разговор при помощи почтовой связи.

Время летит, а девчонкино короткое письмо у меня с ума нейдет. Жалко мне Виктора. Все вспоминаю разные случаи из прошлого, и все, вишь ты, в его пользу. Получит Виктор премию на выставке или отметят его работу на художественном совете, он застесняется, а мы шутим:

— Виктор — значит победитель. Отец тебе выбрал имя со значением.

А теперь что: бедный ты мой победитель! Родная дочь, близкая кровиночка, в которой ты души не чаял, так тебя распластала, так тебя предала!

Накопилась у меня целая пачка писем Виктора. Взял я да и послал на имя Инессы заказной бандеролью. Пусть почитает. Если не камень девка и не полная дура — поймет. А не тронет ее — так цена ей грош в базарный день и толковать больше не о чем.

Нашлось бы что в письмах почитать, кроме того, о чем я уже рассказывал.

Виктор горевал, как жена не поняла его, как не разглядела в нем художника, как все-то норовила от жизни побогаче взять да скупее дать. Как заставила живопись бросить и в бухгалтерию перейти, где тогда повыше ставки утвердили.

И о любовных ее шашнях тоже писал с обидой: ведь он верил ей. А на то, что судачили про ее историю до замужества — что был Лешка да был Сашка, — и внимания не хотел обращать. А она ту веру на поругание бросила.

Писал мне Виктор, как одна послали его по бухгалтерским делам на два дня в Москву, а вернулся он раньше. Стучится дома, а ему не открывают. Долго-то тоже у своих дверей не прстоишь, цепочку с двери Варвара сняла — видит Виктор: она полуголая, кровать смята, окно на терраску шторкой задернуто, а против свету чья-то тень. Спрятала глупая, да второпях. И подлым, лживым голосом канючит:

— Приболела я что-то. Лежу вот.

Отдернул Виктор занавеску — сидит на ящике с грязным бельем главный бухгалтер, старик, козел бородатый, блудливая бестия, рубашонку застегивает и все пуговицу в петлю засадить не может. Взглянул на него Виктор, а у козла того пот на лбу со страха, пальцы дрожат: думал, бить будут или из окна, мол, с террасы выбросят. Про эти пухлые пальцы, как они тряслись, Виктор мне раза три писал — видно, врезались они ему в память.

А Варвара, баба нахальная, делает вид, что ничего не произошло. Смотрит бесстыжими глазами и говорит Виктору:

— Что ж ты не поговоришь с Филиппом Ивановичем?

Виктор думает: «Ну, ну, пой!» Усмехается:

— О чем же говорить прикажешь?

А Варвара:

— О жизни!

Виктор первый раз в жизни озверел.

— Вон! — кричит козлу. — И скорее, пока я тебе под зад ногой не помог уйти.

Блудливый козел быстренько засеменил к двери: хоть не бьют, и то благо.

А Варвара за ним и все приговаривает:

— Зачем же под зад? Зачем под зад?

Сдержал себя Виктор, а и сам не знает: стоило ли сдерживать. Только уж очень противными показались дрожащие пальцы бородатого главбуха и его молчание: ни слова не сказал, — сидел молча и бежал молча, только пот со лба вытирал.

Захлопнулась дверь за любовником жены, сел Виктор и задумался: как теперь жить-то? Бросить ее и уйти? А дети? А Инесса и Ричард?

С тех пор и зажили они как чужие. И верно: соседи на коммунальной квартире.

Варвара, правда, прикинулась, будто ничего особенного не произошло. Даже невиданная дотоль нежность появилась: «Витенька, Витенька».

А Виктор не может так. И все о ребятах думает. Казалось, ничего-то они не понимают. А Варвара потихоньку да полегоньку их на свою сторону переманивала. И переманила. Ричард всегда с матерью заодно пел, а тут и Инесса, отцова любимица, — как ты могла его предать?!

Вот почему, когда в том северном городке появился у Варвары гармонист из Дома культуры и произошел тот памятный для Виктора разговор о худой траве, которая ноги оплела, молча он уезжал. Сломалась жизнь. Треснула. И прошлого не вернешь. И не склеишь. И новую начинать поздно: ни сил, ни веры.

А тут после воцарения фотографа в доме и дочкиных слов уехал Виктор в дальние свои места, в почтовое отделение, и в город больше не ездил, — по делам с отчетом ли, к детям ли. Потом и письма ко мне перестали долетать. Я даже подумал, не помирился ли часом Виктор с Варварой. А он, верно, болел.

На пачку отцовых писем, посланную мною Инессе, так и не получил я ни ответа, ни привета. Потом уж сообразил, что в памяти-то моей Инесса — девчонка,

Иночка, а коли прошедшие года подсчитать, так она не только невеста, а может быть, и чья-нибудь жена. И следовало ли будоражить чужую жизнь?

Только уж очень мне обидно за Виктора, бедного победителя.

Догорела свечечка до полочки, а воску не стало — всё и пропало.

* * *

А конец истории такой.

Попросили меня ребята из заводского комсомольского комитета выступить на молодежном вечере на счет морального облика современного человека. Ну, я выступил, вспомнил и про Виктора, бедного победителя. Потом сообразил: дай-ка разведая, какое у девушек мнение по такому мудреному поводу. Это чтобы лучше понять Инессу. Что тут началось! Кто во что горазд! Многие осуждали Инессу, но прежде всего кляли на чем свет стоит Варвару, то есть мать. Ричарду тоже попало. Нашлись, однако, такие, что про отца, про Виктора, говорили: рохля, мол, и не нашего времени человек. А одна девушка сквозь слезы прошептала: «А мне всех жалко».

Вот жизнь какие загадки загадывает.

ДАНИИЛ ЗАТОЧНИК

Н. С.



КОГДА я родился, поп уговорил отца называть меня Даниилом. Так картинно рассказал Даниилову биографию — ну чисто мир приключений. Отец и соблазнился. Мне, малышонку, он ее потом часто повторял. Жил, говорит, праведник Даниил. Злой царь Навуходоносор велел его бросить в ров со львами. Понимаешь, живого и, судя по всему, здорового человека затолкали к диким зверям. По нашим-то временам это, конечно, возможно: в цирке и не того насмотришься. Но ведь в цирке укротители, они, поди-ко, полжизни этому учатся, а тут рядовой праведник. Однако Даниил не испугался львов, и тогда злой царь придумал новую казнь: велел бросить в печь огненную, по-нашему вроде как в горн, где посуду обжигают. Однако то ли ангел, то ли какая сила направила холодный ветер, и Даниил даже песни запел.

Занятная история.

Прельстился отец на поповы байки и назвал меня Даниилом.

Еще и не подросток я как следует, а смерть подстерегла отца, а за ним и мать. Ну да ведь люди мрут, другим дорогу трут, ладят мост на погост.

По своему бесприютному и сиротскому положению перебрался я к теткам. Куда там делась семейная наша вольность. Люди они не жадные, но к порядку приверженные — не дай бог! Хлеба и того без спроса не возьми. И еще перекрести, прежде чем в рот сунешь. Каждый себя превеликим праведником считал. И по

любому пустяковому поводу мораль высказывают. Может быть, кому-нибудь такой рай и по сердцу, а мне, непокорному, тошно стало, невтерпеж.

Вспомнил я отцовы рассказы про знаменитого пророка и не раз думал, что, видно, уродился не праведником.

И по этому случаю даже посмеивался над собой: ну, мол, попался лев в ров с праведниками Даниилами.

Сготовил котомку: хлеб в пути не тягосъ, — взял краюху, творогу комок да соли щепоть прибавил. Ни слова никому из праведников не сказал и отправился в путь: не на саночках-малеваночках, не на резвом коне — пешком-бережком, вдоль по реченьке, по Дубенке.

Великое множество людей перевидел, дел переделал, разному мастерству обучился, а более всего малярил. И така, вишь ты, во мне способность открылась, что я не только стены ровным колером покрывал или двери под дуб резиновой щеткой разделявал, но и альфрейные работы осилил и в одном городе даже кабачок расписал, будто берегини, или по-ученому русалки, на долгих качелях с чертями болотными качаются.

Ученые люди приходили и очень даже хвалили мою работу. Ты, говорят, самородок из народа.

На одном месте сидеть не любил и потому жил всяко: когда разгульно, а когда и на черством хлебе. Застал в стране последние ночлежки, — испытал их в известном городе Ростове-на-Дону. Пускали членов профсоюза и исключительно по предъявлению билета. А пробирались туда разные мазурики — им ничего не стоило смастерить фальшивый билет: при нелепо чего только не сыскивали.

Снимешь, бывало, все, аж до трусов, сдашь в камеру хранения, а номерок туго на руку наматываешь, бо-

тинки или сапоги придавишь ножками топчана. Тогда и ложись, помня: много спать — мало жить, вздремни по-соловьиному: как этой птахе, так и тебе малый шорох — побудка.

Ты не думай, что я зря болтаю. Тут к делу все. Бедь не где-нибудь, а в ночлежке встретил я старика с распространенной фамилией Иванов, но личность во многом необыкновенную. Живая душа, горем раненая. Сам посуди: с севера он, с Вологодчины, а откуда, точно не указывал. Годы, видно, изрядно помолотили старика: борода сивая нечесана, ходит он сгорбившись, кашляет, веки красные, а глаза будто вытекли, видит чуть. Кажись, не узка ему дверь в могилу, а он живет, трепещет. Промышлял силомером, носил за спиной деревянный ящик пуда на полтора, а в руке треногу. В ящике механика, шнуры, медные ручки. Придет ли, приедет ли в город, встанет на базаре, покрикивает, простодушных людей начнет зазывать:

— А вот, кто хочет испытать силу. Берись за ручки, сколько выдержишь? Не перевелись еще силачи на Руси.

И с каждого по пятак.

Собирал он не так уж много — дома не построишь, свадьбы не сыграешь, а прожить худо-бедно удавалось.

Вместе со стариком-силомером приехали мы из города Ростова в город Севастополь, вместе пешком прошли по Южному берегу Крыма. Старик от простодушных силачей пятаки собирает, а я наострил на скорую руку патреты из черной бумаги вырезать — силуэты называются. Курортникам делать нечего, в чужом месте им скушно, они на всякую выдумку падкие, ну я этим и пользовался. Две минуты работы, и полтицник гони. Поди-ко, за лето-то я не одну тысячу

таких патретов навыврезал и даже подкопил денегжат.

Идем как-то мы меж кипарисами и синим морем, и вдруг дождь, крупный такой, до костей пробивает. Я — нить: эх бы, остаться в поселке или в санатории, эх бы, сейчас не дождь, а солнце, не ливень, а вёдро.

Старик хоть и смиренхонек, слушал, слушал, да как рывкнет:

— Цыц ты, шило-бродило. Думаешь, оттого, что ноешь, дождь перестанет? Отвечай.

— Не перестанет.

— А оттого, что ты и себе и мне душу бередишь, о плохой погоде плетешь, у нас настроение лучше станет? Отвечай, кеша-многоеша.

— Не будет лучше.

— А смекни-ко: может, даже хуже накопит?

— Пожалуй, что и хуже...

— Ну и не бубни ты без толку про то, что изменить не можешь, и не жалуйся каждому верстовому столбу да каждому придорожному камню. Чем жить да век плакать, лучше умереть с песней. Так поставь: дождь ли, туман ли, жара ли — мне, мол, не изменить. Поищу-ко я, где тут красота. Ведь есть же красота и в каплях дождя на ветке, и в дальней горе, сизой от тумана, и в том, как солнце-позолотчик по-своему разукрашивает все вокруг. Но ты не сочти, что я тебя учу жить трусливым щенком: подставь, мол, морду и пусть тебя каждый бьет. Э-э, нет, — тут ты кистень в руку и напролом.

И знаешь, убедил меня старик. И великое ему от меня на всю жизнь спасибо за то, что научил красоту искать и зря не нить. Стал я к миру пристальней да нежней присматриваться. А ведь подумать только: и убогий, и полуслепой, и нивесть какого пустяшного занятия человек.

В Ялте же, на морском берегу, довелось мне и на стариковой смерти присутствовать. К вечерку пошли мы на пляж искупаться: оба в полную меру поработали. Только поставил старик свой силомер на песок и вдруг айкнул, за сердце схватился и лег.

— Ну, теперь, — говорит, — всё, кончаюсь.

Я было собрался бежать за доктором, а он мне негромко да спокойно так:

— Ни к чему. Я предел своей жизни знаю. Лучше, — говорит, — садись рядом и слушай. Осталась у меня в родных местах доченька, Наташей зовут. Я ей вот уж сколько лет вспомоществование высылаю. Как помру я, отправляйся на реку Пинежку, найди деревню Княж-Погост. Только не спутай, — там несколько мест с таким именем. Расскажи ей обо мне, как любил я ее, только не признавайся, что с силомером таскался, а опиши что-нибудь попроще да поблагородней. Она учительницей мечтала стать, вот ты и меня учителем изобрази и скажи, что чахотка мучила и потому-де должен я жить вдали от нее. Поклянись мне выполнить мою последнюю волю.

Я поклялся, и старик отдал богу душу.

Одному-то мне так тоскливо сделалось, что и кипарисы хуже сухой осины показались, и море не радуется. Хотя мы и разного возраста люди, а совместные скитания сдружили нас: ведь и радости вместе и напасти на две части. Близок мне стал старик. Недаром говорят: не люби друга-потаковщика, а люби друга-поперечника. Друг прямой — что брат родной. Вот так и у нас.

Уж коли обещал — надо держать слово. Подсчитал я свои капиталы, прибавил стариково наследство — силомер с треногой подходящему человеку продал — и отправился на Пинежку.

Приезжаю на Княж-Погост и окольно там расспрашиваю о стариковой дочери. Узнаю, что училась Наташа, а когда вернулась в родное село, вышла замуж, но вроде живет неважно, муж у нее в райплане кем-то там служит, человек непримечательный. Очень долго ухаживал за Наташей, когда она болела — помогал, ну вот из благодарности, что ли, или потому, что других женихов не оказалось, она и вышла за него. А веселой от того не стала. Весь день в школе, литературу преподает, дома тоже либо книжки читает, либо шьет, и все молча и молча. В деревне у всех жизнь на виду.

Находились, правда, и такие, что ее винили: муж не пьет, не бьет, деньги домой несет, — чего еще бабе надо?

После таких обстоятельных расспросов и отправился я к Наташе.

Как увидел ее, — точно кто толкнул меня: она. А кто она? Суженая, ряженая? Любовь с первого взгляда? Сначала подивился: замечалось в ней что-то от старика силомера и во взгляде, вроде как в глубину проникающем, а может, в том, как она слова ценила, зря не болтала, а каждое лыко у нее в строку.

Я ей про отца рассказал. И врать не пришлось, ведь старик-то для меня и верно учителем стал. Я его любил и уважал за ум, за доброе сердце, и за горе, которое он носил с собой — это любой бы заметил.

Заикнулся я про горе, а Наташа объяснила:

— Он из-за матери ушел. Обидела его мать. Обманула.

И прибавила такие слова:

— Как олово пропадает, когда его часто плавят, так и человек, когда он часто бедствует. Никто ведь не может — ни горстью соль есть, ни в горе здраво рас-

суждать; всякий человек хитрит и мудрит о чужой беде, а в своей не может мыслить.

Я головой киваю: это, мол, верно.

Опять ей про старика рассказываю, что часто он о дочке печалился. А Наташа опять вроде бы пословицей ответила:

— Моль одежду ест, а печаль человека; тоска человеку кости сушит.

Когда же к слову пришлось и рассказал я, как мы отправились в дальнюю прогулку и учил меня старик не ныть из-за дождя, Наташа вдруг нараспев проговорила:

— Когда лежишь в мягкой постели под собольими одеялами, меня вспомни, под единственным платком лежащего и от стужи оцепеневшего, и каплями дождевыми, как стрелами, до самого сердца пронзаемого.

Я ей замечаю:

— Вы как песню складываете про отца.

А она:

— Это и есть песня. Может, и про отца, а может, и про меня. И сложена она давно, лет восемьсот назад, Даниилом Заточником.

Я, как услышал это, будто костью подавился.

— Кем? — говорю.

Заметь: я ведь имени своего не называл.

Она на меня ясные глаза подняла и повгорила:

— Даниилом Заточником.

— Вот, — говорю, — те раз. Я ведь и есть Даниил. Только не заточник, а человек, людей любящий и на мир с интересом глядящий.

Наташа мне о Данииле Заточнике рассказала, что сама знала. И про то помянула, что есть-де такое известное сочинение «Моление Даниила Заточника». А кто написал, неведомо. Не только она, сельская учи-

тельница, но и крупные ученые в Москве и Ленинграде рьят да гадают, кто это такой был в Древней Руси Даниил Заточник, — то ли княжеский дружинник, то ли холоп, то ли серебряных дел мастер, и жил он то ли в заточении где-то на севере, то ли все это нескладная болтовня какого-то монаха — сочинителя древнего.

И так она красиво и задушевно рассказывала про неведомого горемыку, что предстал он передо мной живым. Вот, мол, твой названный брат из далекого прошлого.

Много говорили и про красоту и про то, для чего в мир приходит художник и как отдает он людям свой талант.

Для меня все разговоры — будто ключевая вода из студеного лесного источника.

Как-то так и получилось, что говорили мы с Наташей много, а муж тут оказался ни при чем. И раскрылась она без спросу да без просьб. Рассказала, что счастья нет и жизнь только работой заполнена.

Дело молодое. Неведомо как, но сблизились мы. Я ей говорю: «Женюсь». А она говорит: «Я уж сколько раз уйти хотела. Муж белугой ревет, руки наложить хочет, если я его брошу».

Говорю: «Уедем». А Наташа: «Он свое слово сдержит. Тут ведь не сила воли, а слабость».

Горячий я в ту пору был. Обидно мне показалось, что не хочет она ради меня пожертвовать нелюбимым человеком. Пospорили мы как-то, я пригрозил: — Уйду, коли так.

Она на шею:

— Милый, хороший, не покидай.

— Тогда бросай его.

Она головой качает.

Вот и пойми ее.

Измучился я. Делить не в силах. А отринуть ее от мужа не могу. Сказал ей словами Даниила Заточника из книги, которую она мне дала, а я чуть не наизусть выучил:

— Лучше в дырявой ладье плыть, нежели злой жене тайны поведывать: дырявая ладья одежду замочит, а злая жена всю жизнь своего мужа погубит. Железо переплавишь, а злой жены не научишь.

Заплакала Наташа и ничего мне не ответила.

Ночью ушел я с Княж-Погоста.

Всю жизнь один и проковылял. И радость знал и к горю приложился. А если о счастье говорить, то добром по-настоящему и поминаю только время, с Наташей прожитое. Счастье, оно ведь как заколдованное: захочет — дастся, не захочет — нет. Я глядел вперед, а жил в сторону. Разбежалось мое счастье по разным делам да делишкам, по чужим листкам да по незнакомым веточкам. Услышишь где или прочитаешь в книжке про жену — заботницу да помощницу, сердце-то и защемит: где мое-то счастье судьба зарыла, мне не показала, в руки не дала?

Прибился я к фарфоровому заводу, да там и за-ековал. Сначала в живописной работал на массовке, потом перевели в художественную лабораторию. Много я на своем веку узоров для посуды сделал, много вещей на разные зарубежные выставки. И если завод получил дипломы и медали, то в той уже и моя рыбешка есть. Но с горя не цветут, а сохнут. Вот и я стал худой да тощой, а так как с девушками меня редко видели, то и прозвали Даниилом Заточником.

Конец этой истории горестный. Вызвали меня в Москву за получением выставочного диплома. Выслушал я все похвальные слова, и потянуло меня, ну прямо как сила неведомая, в выставочный зал, где и мой сер-

виз под названием «Воспоминание» находился. Считал я, что создан он вроде как воспоминание о молитве Даниила Заточника. Все-то там русское — и форма, как крестьянский горшочек, и ручки, и роспись. И видно, горе мое и боль моя невыплаканная, любовь к Наташе сказались неизвестно как, но хорошо получился сервиз. Это все в один голос признавали. И на заводе, в лаборатории, и на художественных советах. За то и награду присудили. Захотелось еще раз перед отъездом поинтересоваться, как люди-то, зрители, на сервиз смотрят.

Подошел я к залу и у дверей стал. И будто меня в сердце кольнуло: стоит у витрины с «Воспоминанием» женщина в солидном возрасте, вроде бы даже с сединой, в старомодных очках, в кофточке шерстяной. А рядом двое пареньков: одному лег шестнадцать, а другой поюней, подросточек, лет, поди, четырнадцать. И так пристально все трое смотрят, прикинули к стеклу, у ребят глаза горят, а мать им что-то все говорит, говорит. И тоже так трепетно, горячо. Ах ты, думаю, вот это зрители, — для души радость, для сердца улада.

И все всматриваюсь беспокойно, себе самому не верю. А уж знаю: ведь это — Наташа стоит. Подойти хочется. А что ребята подумают? Ведь выдаст себя, как и я себя выдам. Детское сердце приметливое, оно и правду чует и фальшь отличит. А вдруг после этой встречи вся жизнь их кувыркком пойдет? Может ведь такое статься?

Как на медвежьей охоте: решай быстро — либо ты косолапого под бок рогатиной, либо он тебя лапой сграбастает.

Горит сердце. Нет, думаю, ничего я тут не в силах изменить, как в грозу громовую. И не ныть надо, не

клевать себя, а идти по возможности спокойно, как подобает мужику, да еще заточнику.

Вот тебе и все про первое счастье и про последнюю встречу.

ЛОВКИЙ СЫЩИК



МОЖЕШЬ, конечно, не верить: вот, мол, сготовил Арсентьич дичинку с начинкой. Но я за что купил, за то и продаю: взял за четыре грошика, а уступаю по две денежки за пару. Передам слово в слово, как родитель мой рассказывал. У него занятых историй

полон короб накопился, а эту он на отметинку любил. Да и приятели-то его именно ее чаще других просили рассказывать. Только один приезжий возразил:

— Я, — говорит, — об этом слышал от судебного деятеля.

Да ведь там с чужих слов, а отец, можно сказать, участник событий.

Ну, а если что не так, не обессудь: прямо-то только сорока летает.

Отец мой первостатейным гравером слыл на всю Россию, на все Кузнецовские фарфоровые заводы. И произошла с ним такая оказия, когда ему, рабочему человеку, хозяин чуть не в ножки кланялся, христом-богом молил выручить, сделать одолжение, любые деньги сулил, хоть те пятьсот рублей, хоть тысячу —

ей-ей! — лишь бы он согласился хозяйскую просьбу уважить. И еще как уговаривал:

— Не я, — говорит, — ходатайствую, сам государь император.

А царь-то тогда знаешь какой был? Под горячую руку ему не попадайся. Штоф водки выпивал, и не стопками, а вприпадочку. Сколько дней в году, сколько святых в раю, столько он и праздновал. Состоял при царе генерал, начальник императорской охраны, тоже любитель сполоснуть зубы. У обоих сапоги по форме — бутылками, с широченными голенищами, а за голенищем коньяк в плоских флягах: сообразили бражники, чтобы близкие не заметили, откуда взялось святое зелье. Трезвый-то царь тихо ступал, в бороде улыбки прятал, на большой медной трубе марши наигрывал, а во хмелю буянил: пудовым кулаком человека мог на месте уложить. И укладывал, очень даже просто.

Может, я не с того конца начал? Пожалуй, что и так.

Тут, понимаешь, в столице все дело-то началось, в Санкт-Петербурге.

Послом одной иностранной державы состоял то ли барон, то ли граф какой, величали его «ваше сиятельство», а фамилия, конечно, мудреная, нерусская, язык сломаешь, выговаривая. Ну, да не в этом суть. Сама история-то с приключениями.

Считался граф-барон первейшим знатоком фарфора. Все в уме держал: какой мастер на какой фабрике какую марку ставил — и будто бы даже мог определить год выпуска чашки, блюда или там вазы. Не особенно сведущий любитель увидит два синих меча на донышке чашки и сразу: «Это саксонский форфор с фабрики города Мейсена». А граф-барон хитро улы-

баются: извините, говорит, подвиньтесь: видите возле этих мечей звездочку о шести лучиках? Свидетельствует такой значок о том, что хотя мастер некогда жил в Саксонии, но, разукрашивая вещь, работал на русском заводе господ Гарднеров в Вербилках, и, судя по тому, как золотые бантики в рамке изображены, могу сказать, что звали того замечательного мастера Иоганн Кестнер. А расписал он чашку в шестидесятых или в семидесятых годах восемнадцатого столетия.

Если по-современному говорить, являлся посол специалистом фарфорового дела, профессором или даже академиком.

Назначат его в какую страну послом — он туда все свои собрания и везет. Потому без них жить не мог. В стружки, в морскую траву, в вату аптекарскую слуги ему каждую чашечку и тарелочку упакуют, в ящички заколотят, осторожные надписи напишут: мол, не разбейте — и подобным манером из города в город, из страны в страну и переправляют.

И надо же такой беде страстись, что не в городе Париже и не в городе Лондоне, а именно в Санкт-Петербурге забрались к нему воры. До того ловкий народ оказались эти мазурики — не иначе как по чьей-нибудь злой указке действовали, — ничего от посла ценного не взяли, кроме старинного немецкого сервиза. А у графа-барона этот сервиз был на самом лучшем счету, больше всего посол его любил.

Назначил русский император торжественный прием, не знаю уж по какому особому случаю. Послы разных стран должны быть на таком празднестве. Все они присутствуют, и нет только одного — этого самого графа-барона.

Царь уже выпил в тот день для веселости, но по сторонам поглядывает, все на заметку берет.

— Чтой-то, — говорит, — не вижу я графа-барона. Министр ему докладывает:

— Он в сильном расстройстве, ваше императорское величество. У него какая-то беда.

— Что за беда может произойти с иностранцем в моем государстве? — рассердился царь. И тут же дает распоряжение: — Выяснить, что стряслось!

А сам в соседнюю тайную комнату прошел и из-за голенища плоскую флягу вытащил, чтобы принять лекарство от расстройства нервной системы.

Министр туда-сюда разослал людей. Они в момент все разузнали. Опять докладывают царю:

— Украли у господина посла самый любимый фарфоровый сервиз.

Царь в сердцах как стукнет кулаком по столу орехового дерева — куда ножки, куда крышка, одни щепки на полу.

Приказывает министру:

— Найти сервиз!

Это легко сказать: найти. Кисточка, бывало, затеряется, ищешь, ищешь, семь потов сойдет, пока ее в дальнем углу под столом заприметишь. А тут сервиз. Не попросишь: «Чертик, чертик, поиграй да отдай». Не бес крутит, а воровская шайка, она тебе следов не оставит, заклинанием ее не возьмешь, а царев указ оставляет вовсе безо всякого внимания.

Однако для министра слово царя — закон. Зывал он главного сыщика.

— Хоть умри, — говорит ему, — а найди! Иначе мне на глаза царю показаться невозможно.

Тот, конечно:

— Слушаюсь, ваше превосходительство!

И стал искать.

День ищет — ничего. Два — ничего. Все воры и мошенники главному сыщику известны, всех их он спрашивал, никто не брал, и никому ничего про сервис неизвестно.

— Ищите, каналы! — приказал сыщик. — Не найдете — я на глаза министру показаться не смогу.

Снова ищут воры и снова говорят:

— Нет сервиса.

Посол между тем от расстройства совсем слег, и царю, конечно, об этом немедленно — нашлись такие люди — доложили. Царь — министру нагоняй, министр — сыщику. А сыщика и без того досада гложет. Но не то страшно, что его отругают или рассчитают, а по самолюбию ударяет. Ведь он недаром слыл самым знаменитым в России сыщиком: все мудреные дела распутывал.

За Нарвской заставой купца ограбили — кто отыскал разбойников? Главный сыщик. Из военного госпиталя бежали двое музуриков — кто их настиг в двадцати верстах от столицы? Все он же, главный сыщик. Появился в лучших домах Петербурга мошенник, за князя себя выдавал — кто его на чистую воду вывел? Опять же главный сыщик. Фальшивомонетчики прятались в подвалах, убийцы норовили скрыться, наклеив фальшивые бороды (мало ли было всяких историй!), и всюду сыщик на манер козырного туза всех кроет. Ордена ему жаловали, в чинах повышали: был такой случай, что царю докладывали и тот не пожалел золотой табакерки, усыпанной бриллиантами. А тут, на-кося, опростоволосился. Стыд!

Заперся сыщик у себя в кабинете, никого не велел пускать и стал кофий пить да думать.

И ведь надумал.

Облачился в самый что ни на есть парадный фрак,

ордена и медали нацепил, ленту через плечо навесил и является к послу.

Лакей-старик ему сообщает:

— Граф не изволят принимать. Больны-с.

Сыщик приказывает:

— Доложи, любезный, что прибыл я касательно украденного сервиза.

Старик аж обомлел и бегом в спальню к послу.

Через минуту граф сам вышел. И первый его вопрос был:

— Нашли?

Сыщик, глазом не моргнув, говорит:

— Почти. Напал на след. Сервиз воры спрятали, ждут, пока скандал утихнет. Но я все знаю. Хорошо бы иметь черепок от какой-нибудь вещи из сервиза.

— Это, — отвечает посол, — с полным нашим удовольствием.

И предъявляет тарелку.

— Вот, — говорит, — край у нее отбит был, так я склеивал, поэтому она и в кабинете лежала, а не в шкафу под стеклом.

Сыщик взял тарелку.

— Разрешите, ваше сиятельство, я ее с собой захвачу, мне легче будет опознать сервиз и уличить воров.

Посол, конечно, согласился, но тут же заметил, что через месяц собирается совсем уезжать из России и, по совести говоря, уже не верит, что пропажа может отыскаться.

— Что вы, что вы! — стал его успокаивать сыщик. — Будьте благонадежны, получите свой сервиз в целости и сохранности ровно через три недели.

И что же ты думаешь? Три недели прошло, и на пролетке подкатывает сыщик к дому посла, звонит, аж

по всем комнатам трезвон пошел. Лакей открывает, не прежний старик, а другой, помоложе.

— Что, — говорит, — изволите?

— Принимай сервиз! Да осторожно переноси, — распорядился сыщик, а сам прямым ходом к графу-барону. — Так, — говорит, — и так. Ночей не спал, за вами гонялся. И настиг.

А лакей пакет за пакетом на стол ставит.

Граф велел один пакет развернуть. Схватил тарелку — как есть та, что сыщик взял, только без трещинки.

Долго ее граф рассматривал, лупу вытащил, к окну подошел. Головой покачал от удивления, согласился:

— Точно, ничего сказать не могу.

Сыщик, конечно, каблуками щелк, граф ему руку протянул, поблагодарил. Попрощались они.

Только сыщик уехал, граф закричал лакею:

— Самый что ни на есть парадный фрак мне!

Нарядился — и во дворец. Там в тот день то ли бал, то ли прием какой назначили, и известно, что царь должен быть.

А царю уже доложили, что, мол, украденная драгоценность нашлась. Сыщик в героях ходит, министр всяческие милости ему оказывает, и уже готовят царский указ, что выражается ему высочайшее благоволение за особую распорядительность, оказанную при исполнении возложенного на него поручения.

Посол увидел царя, поклонился. А тот поманил к себе графа-барона.

— Довольны? — спрашивает.

— Очень даже доволен, — ответил посол. — Нарочно приехал поблагодарить и попрощаться, потому как настал срок уезжать из вашей прекрасной страны.

И я не могу, — говорит, — удержаться, чтобы не выразить своего восхищения вашими замечательными мастерами. Всю жизнь я собирал фарфор и знаю, можно сказать, всю подноготную о каждой фабрике в каждой стране. Но о том, какие искусные мастера на русских фарфоровых фабриках работают, того, выходит, не знал.

В кулаках-то у царя сила, а голова со слабинкой. Видно, не в ту пору его мать родила, не собрав разума, в свет пустила. Не понял он, на что ему посол намекнул.

— Я, — говорит, — так полагал, что вы меня, натурально, поблагодарить хотите за действия моего главного сыщика, а слышу — вы о каких-то мастерах распространяетесь.

Посол так это легонько, по-дипломатическому, усмехнулся, чтобы царю не обидно показалось. Они ведь, дипломаты-то — ты это из газет, поди, знаешь, — хитрый народ. Если положение трудное, такого туману напустят, не сразу и разберешься. Вот и граф-посол тоже. Вежливенько отвечает:

— Господином главным сыщиком я просто-напросто сражен. В сервизе у меня состояло десять тарелок. Одиннадцатую я дал господину главному сыщику для опознания, а двенадцатая была потеряна еще год назад в Неаполе. А господин главный сыщик вернул мне сервиз с двенадцатью тарелками. Разве это не чудо из чудес?

Царь смотрит на посла и все как есть понять не может. Одно уразумел, что посол доволен, а ему только этого и надо.

Посол опять кланяется:

— Соболаговолите принять уверение в совершенном почтении, искреннем уважении, и прочее, и прочее.

Ну, в общем, как дипломаты говорят.

С тем он из России и уехал.

А ты-то смекнул, в чем дело? Пропал сервиз с десятью тарелками, а нашли с двенадцатью! Вот это сыщики, дошлый народ!

Главный-то сыщик с битой тарелкой сразу к фабриканту Кузнецову, — Матвей Сидорыч в ту пору в Санкт-Петербурге находился. Потом они все поскакали на нашу фабрику.

Вот тут-то Матвей Сидорыч вызывает моего отца и просит:

— Арсентий, вырежь доски для печати, и как можешь скорей. И чтобы не отличить от образца.

Отец говорит:

— Месяц на такой мудреный заказ требуется.

Сыщик руками замахал.

— Две недели на все про все, иначе я труп.

Отец тогда не знал, что это за господин из Питера вместе с хозяином прикатил, ему что труп, что не труп — все едино. Он на хозяина косится. А Матвей Сидорыч такие ласковые слова стал говорить, каких рабочие отроду от него не слыхивали. И деньги посулил. Ну, не тысячу и не пятьсот рублей, это я, конечно, прибавил для блезиру, а четвертным поманил.

Две недели не отходил мой отец от стола, резал узор на стальных досках. Вышло все тютельница в тютельница, как та тарелка.

Сыщик, как увидел сервиз, — обомлел.

— Волшебство, — говорит, — истинное волшебство. Повернулся к отцу и обнял:

— Хозяин тебе, Арсений, четвертную назначил за труд. На еще от меня сотенную! Будешь в Петербурге, милости прошу ко мне в гости. Потому как спас ты меня, выручил из беды.

Кажется, сыщик — темная профессия, все с ворами да мошенниками якшается, а оценил мастерство русского рабочего человека. И не он один, вот что важно.

Побывал отец мой в столице у сыщика. Дом в два этажа, окна зеркальные, лестница мраморная. Прочитал сыщик письмо, полученное из-за границы от посла, этого самого графа-барона.

«Привезенный вами сервиз, — самая главная достопримечательность моей коллекции. Таких немецких сервизов, как у меня украли, на свете в разных музеях наберется, я знаю, четыре. А подобной искусной подделки, что сотворили русские мастера, нет ни у кого. И цена ему баснословная. Что же касается украденного сервиза, то он опять у меня. В краже оказался замешан мой лакей-старик. За сим примите уверение в совершенном почтении...»

И всякие там вежливые слова, как у дипломатов водятся.

* * *

Когда я услышал рассказ Арсентьича, подумал: вот как иной раз творится легенда. Ведь в запеве сказа много подлинного. Нечто подобное произошло с начальником петербургского сыского отделения Путилиным и поведано миру им самим, а затем с его слов, еще раз знакомым сыщика, одним известным судебным деятелем. Арсентьич, конечно, любил присочинять, но, начав с этого происшествия, так все повернул на свой лад и такие события вспомнил (а может, и прибавил от себя), что первым героем стал не ловкий сыщик, а гравер, русский рабочий человек.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Солоухин. Красивое дело</i>	3
Место красно	6
Путешествия за красотой	
Четыре тысячи лет спустя	17
Зеленые кони	42
У великого поворота ,	71
Красные кони , ,	105
Лев из Тотьмы , ,	145
Три шенкурские розы . . ,	167
Добрым людям на загляденье	
Вечная прочность	197
Золотые нити ,	216
Звонкое чудо	
Северный корень	235
Миллионщиковы дети	248
Бедный победитель	257
Даниил Заточник	267
Ловкий сыщик	277